

Дана Рубина

НАПОЛЕОНОВ

ОБОЗ

КНИГА 3.

АНГЕЛЬСКИЙ

РОЖОК



Наполеонов обоз

Дина Рубина

**Наполеонов обоз. Книга
3. Ангельский рожок**

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок / Д. И. Рубина —
«Эксмо», 2019 — (Наполеонов обоз)

ISBN 978-5-04-106025-1

Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и мгновенно срослись в единое целое, запылали огненным швом – словно и не было двадцатипятилетней горькой – шекспировской – разлуки, будто не имелась за спиной у каждого огромная ноша тяжелого и порою страшного опыта. Нет, была, конечно: Надежда в лихие девяностые пыталась строить свой издательский бизнес, Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в израильскую тюрьму. Орфей и Эвридика встретились, чтобы... вновь разлучиться: давняя семейная история, связанная с наследством наполеоновского офицера Аристарха Бугеро, обернулась поистине монте-крестовской – трагической – развязкой.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-106025-1

© Рубина Д. И., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	26
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Дина Рубина

Наполеонов обоз. Книга

3. Ангельский рожок

Роман в трёх книгах «Наполеонов обоз»

1. Рябиновый клин
2. Белые лошади
3. *Ангельский рожок*

В оформлении обложки использована репродукция картины *Б. Карафёлова*

© Д. Рубина, 2020

© Иллюстрация, Б. Карафёлов, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Глава 1

Завтра

- Я старая и толстая...
- Ты царственная и роскошная.
- Нет, я старая и толстая.
- Ты дура и дылда. Я тобой надышаться не могу!

Он поднялся с кровати, подобрал подушку с пёстрого половика, закинул её в глубокое кресло, разлаписто и кудряво занявшее целый угол. Походил босиком по приятному теплу деревянного пола, будто проверяя собственную устойчивость, и подошёл к окну... Сияющий поплавок луны танцевал в стремительной дымке облаков; полчища кузнечиков дружно выжигали серебряную чернь деревенской ночи; комната плыла сквозь перистые тени медленно, как в волшебном фонаре, – тюлевая занавеска шевелила плавниками.

Он потоптался у стола, включил настольную лампу и залюбовался – эх, и лампа же: бронзовый сатир держит в поднятой руке увесистый гриб густого жёлтого света – мёд текучий, золотой пчелиный рай.

И чего только не найдёшь на этом столе! Под приподнятым копытом сатира лежит серебряная гильотинка для сигар, с двойным лезвием (кто, интересно, курит здесь сигары?); уютно уселись друг в дружку две кофейные фарфоровые чашки, в верхней – сохлая бурая лужица. А чернильный прибор какой: чёрное дерево, золочёная эмаль, всё до блеска начищено, и часы, и обе чернильницы. Да на черта ж человеку ныне письменный прибор?! И вдруг вспомнил: такой же обаятельный *кавардак* был в мастерской у дяди Пети, на гигантской плоскости его рабочего стола. А приглядишься – всё под рукой, и всё необходимо, всё на своих местах. Так и тут: каждый предмет кажется уместным, и поставлен-положен в порядке, потребном именно хозяйке. И огромное окно, в котором *мчатся тучи, выются тучи*, – и оно стоит в правильном месте: напротив кровати, чтобы, среди ночи проснувшись, увидеть, как скачет луна в бородастой улыбке разбойного неба.

Но главное, плыл по комнате, утягивая к нутряному теплу расхристанной постели, запах любимой, аромат её разгорячённого лона, – потерянная и обретённая мечта, сны, страсть, тайная суть всей его почти минувшей жизни. Всё, что обрушилось на него часа три назад, выдернуло из годами накопленной хандры, из обрывдлых скитаний; что контузило, швырнув лицом, дрожащими губами в воронку взрыва – в благоуханную тишину её незнакомой полной груди, белой шеи, длинных сильных ног, в тисках которых минут пять назад блаженно содрогалось его тело.

– А этот шеф-повар на все времена, – осторожно заговорил он, покручивая и наклоняя козлоногого так и сяк, отчего жёлтая патока света лениво перетекала со стола на стену, доплёскивала до кровати, золотила голое плечо Надежды, огнисто вспыхивая в волосах. – Этот веле-речивый Цукат... он тебе – кто?

– Он мне – душевный раздолбай.

Хороший правильный ответ. Приструнить чудовище. В незапамятные времена он бы кинулся в ванную проверять – сколько зубных щёток стоит в стакане.

«Начинается, – думала она, мысленно усмехаясь, с томительным потягом перекатываясь на бок и уютно подминая подушку под локоть. – Полюбуйтесь на него: уже прощупывает границы вернувшихся владений. Неисправим!»

– ...и мы же договорились: всё – завтра...

– Завтра, завтра, – поспешно согласился он. Сатир мигнул, погас и вновь озарил напряжённое и уже страдающее лицо, которое совсем недавно восходило и восходило над ней в изнеможении расплавленного счастья.

Они и впрямь договорились.

Едва выпроставшись из первой то ли сшибки, то ли погони друг за другом, то ли совместного улепётывания по тропинке длиною в жизнь; едва, откинувшись на подушку, ещё задышавшись, он простонал:

– Годами... го-да-ми!..

Надежда, прикрыв ладонью ему губы, строго сказала:

– Завтра!

Сейчас, подперев голову рукой, она молча следила за тем, как со сдержанной опаской он осваивается в комнате, *в её спальне*, в её любимом логове, – ещё робея, ещё не понимая своего места: гость? хозяин? бывший муж? новый любовник? – как сторожко двигаются ноги его, плечи, спина... Смотрела и думала: надо же, как жизнь сохранила это поджарое тело, даже досадно. И чего он вскочил, будто кто за ним гонится, и кого высматривает в окне, в тёмной деревенской глуши? Нет, приказала себе, не думать, не задавать вопросов. Всё – завтра...

Последние часы она и сама переплавилась в чьё-то молодое-пытливое тело и жадно плыла, как в отрочестве – в реке или в бассейне, с удивлённой радостью ощущая гибкую хватку потаённых мышц, очнувшихся от многолетней спячки, и сладость узнавания его естества, его самозабвенной яростной нежности. Одного лишь боялась: вот закончится ночь, они увидят морщинки друг друга и осознают всю тщету, всю запоздалость этой встречи; навалится вновь одиночья тоска, протяжённая пытка окаянной разлуки, трусоватая гниль его давнего предательства, – вся эта горечь отравленной пустоты.

* * *

Тремя часами ранее, едва Изюм деликатно и огорчённо притворил за собой дверь веранды, Аристарх, с грохотом отшвырнув с дороги стул, молча ринулся на неё, рванул к себе, сграбастал!

Она пыталась отпрянуть, вырваться... Шарила онемевшими руками по его спине, упиралась ладонями в грудь. Горло дрожало, не в силах выдавить ни звука:

– ...нет... я не... н-не смей! – всё это полузадушенным писком.

– Ну, хватит! – рявкнул он, обоими кулаками впечатывая её в себя так, что сквозь свитер она чувствовала, как гулко-дробно колотится его сердце. – Мало тебе, что ты с нами сделала?!

Ткнулся носом, губами в её шею, за ухо, шумно и протяжно вдохнул, как ныряльщик перед погружением в глубину. И пока они стояли так на пороге кухни, в радужной арке света от лампы – сцепившись, сплетясь в странном разрывающем объятии, – поток жалких суетных мыслей проносился в её голове, защищая сознание от того подлинного, невероятного, что происходило в эти вот минуты: «Душ не успела с дороги... ужас... потная мерзкая старуха. А этого изгнать беспощадно! Всю жизнь... ни капли тепла...»

Ноги дрожали, как после долгой изнурительной болезни.

Аристарх вновь глубоко втянул в себя воздух:

– Наконец-то! Четверти века не прошло... – отшатнулся, обхватил ладонями её лицо, обежал судорожными пальцами, обыскал синими волчьими глазами:

– Хрен ты теперь от меня сбежишь, осужденная! Я был тюремным врачом, да и сам стал отбросом общества. Я просто тебя убью!

«Главное, до постели не допустить...» – думала Надежда в панике, ужасно ослабев, как-то внутренне обмякнув: её тянуло бессильным кулём свалиться на пол, в глотке застрял протестующий вопль, голова плыла в оранжевом пожаре – как на Острове, когда он напоил её, пятнадцатилетнюю, дорогим Бронькиным рислингом. Мысли вскачь неслись, сталкиваясь и топча одна другую: «Не допустить, чтоб увидел толстую задницу, сиськи эти пожилые... Нет, никогда, ни за что!»

...Минут через десять они оказались в её спальне, как-то умудрившись доковылять туда по тёмной лестнице, по-прежнему обречённо сплетаясь, поминутно заваливаясь на перила, обморочно нащупывая губами друг друга. И уже совсем загадочным образом исхитрились одолеть пуговицы-петли, рукава, штанины и «молнии», ежесекундно бросая это занятие, чтобы в темноте вновь нащупать, схватить и не отпустить... – будто неведомая сила могла растащить их по далёким окраинам вселенной.

– Молчать, это медосмотр, – сказал он, освобождая её грудь от лямок-бретелек и прочих ненужных материй. – Вряд ли сегодня доктор сгодится на нечто большее, от страха.

И она засмеялась и заплакала разом: с ума же сойти, двадцать пять лет! – и оба, неловко рухнув на кровать, закатились к стенке, где затихли в медленном, нежном, сладком ожоге слившихся тел.

* * *

...Птица заливалась где-то рядом, в ближней тёмной кроне за карнизом – неистово, пронзительно, острыми трелями просверливая темноту. Аристарх и сам не заметил, как отворил окно – видимо, когда в очередной раз его сорвало с постели. Его нещадно трепало, а время от времени даже подбрасывало, и тогда он пускался рыскать по комнате, пытаясь унять трепыхание в горле странного обжигающего чувства: счастья и паники.

Хотя самое первое, самое пугающее было позади.

Смешно, что он боялся, как пацан, – матёрый самец в расцвете мужской охотной силы. Да нет, думал, не смешно совсем. И никогда бы не поверил, что с первого прикосновения их разлучённые тела, позабывшие друг друга, смогут мгновенно поймать и повести чуткий любовный контрапункт оборванного давным-давно, древнего, как мир, дуэта. Это было похоже на отрепетированный номер, нет, на чудо: так с лёту подхватывают обронённую мелодию талантливые джазисты; так, не переставая болтать после трёхнедельной разлуки, бездумно сплетаются в собственническом объятии многолетние супруги.

Но жизнь была прожита, и прожита без неё; и в отличие от девичьего образа, за минувшие годы истончённого до прозрачности в воспоминаниях и снах, там, за спиной его, на истерзанной кровати лежала зрелая сильная женщина, его прекрасная женщина, дарованная ему детством, юностью, судьбой... и наотмашь, чудовищно отнятая.

Сознавать это было невыносимо, гораздо большее, чем просто жить без неё изо дня в день, из года в год, – как он и жил все эти четверть века.

Он вскакивал, метался, замирал перед окном и возвращался к ней, до изнеможения стараясь вновь и вновь слиться до донышка, очередным объятием пытаясь навсегда заполнить все пустотелые дни их бездонной разлуки... Он уже чувствовал, как она устала, и понимал, что надо бы отпустить её в сон.

Но невозможно было представить, что он опять останется один, что она опять исчезнет – хотя бы и на час. Ночь раздавалась и раздваивалась, струилась, убегала по чёрным горбам шепотливых крон; стрекот кузнечиков давно рассеялся по траве и кустам, зато кто-то залихватский тренькал и пыхал тлеющими угольками неслышно подступающей зари...

- Это что за...
- ...поёт, в смысле? Может, дрозд...
- ...нет, соловей, конечно... Дрозд в конце полощет так, а этот... Слышь, как сверлит и перехватывает... В Вязниках, помнишь, они и на прудах, и в городе...
- ...и в зарослях жимолости-бузины... а уж в садах!
- Мама знала всех птиц...
- ...у тебя рука, наверное, занемела...
- Нет, не шевелись! Прижмись ещё больней. Двадцать пять лет...
- ...молчи!
- ...двадцать пять лет мы могли вот так, обнявшись, из ночи в ночь, из года в год! Что ты наделала с нашей жизнью, мерзавка!
- Перестань! Ну, перестань, умоляю... лучше про маму.
- ...мама очень птичьим человеком была. Знала все их имена и кто как поёт... Когда мы с ней шли куда-то, по пути показывала и объясняла. Я всегда удивлялся: «Откуда ты знаешь?» Она лишь улыбалась. А потом, годы спустя, понял, когда узнал...
- Узнал – что?
- Её бабушка была известным фенологом... орнитологом? – ну птичьим профессором.
- Это которая – с маленькой мамой по поездкам, и руки примёрзли к поручням, и умерла в Юже на станции?
- ...да-да. Ты всё помнишь, отличница. Боже, что ты натворила с нами, что ты натворила, горе какое...
- ...а соловьи ходили слушать на пруды. На первый и на третий. Там островок питомника тянулся в сторону Болымотихи, смородинный такой островок, одуряюще пахло. Ты стал... таким...
- ...м-м-м?
- ...другим, новым. Тело... повадка иная...
- ...Я старый хрен. А ты разве помнишь меня – прежнего?
- Я помню всё, каждый раз...
- ...ты вспоминала...
- ...каждую ночь. Что это за шрам тут?
- ...ерунда, заключённый пырнул осколком лампы. Не убирай руки, да, так! Ещё... не торопись... господи... господи...
- Ей подумалось: а я ведь и забыла, как это вообще бывает, как это... ошеломительно. Но то была другая любовь: властная, неторопливая, взрослая. Оба они изменились, но сквозь бие-ние пульса, сквозь кожу давно разлучённых тел с первого прикосновения жадно, неукротимо пробивалась та, предначертанная тяга друг к другу, та *положенность* друг другу, которую не уберегли они и вдруг вновь обрели – бог знает где, в какой-то деревне, посреди вселенной, посреди – да и не посреди уже, – остатней жизни...
- А ты знал, что мы встретимся?
- Никогда не сомневался...
- ...я с утра чего-то ждала, психовала... даже с работы ушла...
- ...и чего, думаю, меня тянет к этому балаболу в бригаде, на что он мне? Вечно какую-то хрень несёт...
- ...а когда возвращалась, чудом не столкнулась с лошастью. Белая, смирная такая кобыла, на ней – парнишка. У меня чуть сердце горлом не выскочило... А он, дурачок, совсем не испугался, представляешь? – к окну склонился и говорит, улыбаясь: «Ты что, совсем меня не ждала?»

– ...думаю, какого чёрта согласился к нему ехать, деревня какая-то, опять его болтовня... И вдруг он говорит: «Оркестрион!» – а у меня сердце: «Бух!» И говорит: «Соседка эксклюзивная...»

– ...а часов с шести вечера уже просто знала, – ждала. Потому так разозлилась, когда Изюм со своим: «Эй, хозяйка!» – появился...

– ...и ударило уже на ступенях веранды: сначала – запах, как в доме на Киселёва, потом – голос, и, как в снах все эти годы, – огненная вспышка волос! Дальше не помню...

Где-то звали рассвет петухи, по окрестным дворам разноголосно брехали собаки, а с опушки ближнего леса то и дело задышливо ухал филин.

Ночь тронулась в обратный путь, и небо повисло над крышами деревни исполинским куском ветчины, с розовеющими прослойками зари. Слепая луна застряла в нем алюминиевой крышкой от пива.

Он подошёл к окну, выглянул наружу, дав прохладному воздуху себя обнять, окатить волной и слегка успокоить. Вернулся к Надежде, неподвижно лежащей лицом к стене (мелькнуло: библейская жертва под занесённым ножом), тихонько прилёг сзади, уже не смея будить. Лишь продел обе руки у неё под грудью, сцепил их, вжался всем телом и замер, тихонько поглаживая подбородком её плечо. Бормотнул еле слышно: «Это моё».

– М-угу... начертай: «Здесь была талия», – отозвалась она сонно, хрипло.

– Вот здесь... а здесь? – нежно провёл пальцем линию вдоль бедра.

– Здесь задница. Можно подняться на эту гору... или укрыться в тени этой туши.

– Я тебя вышвырну из постели, если не прекратишь оскорблять мою красавицу жену.

– Я похудею...

– Ни в коем случае! У меня проблема с четвёртым позвонком, мне велено спать на мягком.

– Наглец. По тому, как ты кувыркался, никаких проблем у тебя нет.

– Ты просто не в курсе: я старый больной человек.

– Ха... – она опять затихла, но минуту спустя прошептала самой себе: – ...волосы на груди стали гуще, лопатками чую... кудрявые...

– ...и седые...

– Да?!

– Вот утром увидишь. Первым поседело сердце – давно и сразу, ещё когда по первому кругу тебя искал. Когда твой армянский святой меня не пожалел.

– А сколько их было, этих кругов?

– Много разных. Дольше всех – бумажный. Запросы, запросы... Сначала на Надежду Прохорову, а их толпы обнаружили, ты вообразить не в силах. Только моей нигде не оказалось.

– ...я же сменила...

– Потом стал варьировать фамилии. Материнскую помнил, а бабкину не знал. Не догадался... Потом появился интернет... Нет, это длинная сага. Всё – завтра.

– ...завтра, да...

– Постой. А родинка?!

– ...какая ещё родинка...

– ...моя любимая, вот здесь! Чечевичное зёрнышко! Караул!

– А! Кожник сказал убрать. Лет восемь уж...

– Кража моего имущества!

– ...ну, давай уже спать, у меня всё плывёт, я лыка не...

...кто-то на цыпочках пробежал по листе, шёпотом пересчитывая наличность. В комнату плеснуло прохладой, рассветные шорохи потекли внутрь суетливой *струйкой-шебуришай-*

кой... Сквозь бисер тонкого дождя он слышал или чуял, как вспарывают землю выпуклые шляпки грибов...

- Ты задремал и говорил на каком-то рваном языке.
- Это иврит...
- О! Где подхватил?
- Завтра, завтра... другая жизнь...
- Ты всё расскажешь?
- ...почти...
- У тебя было много женщин?
- ...не помню, какая разница...
- А ты... почему не спрашиваешь?
- ...м-м-м?
- ...ну, был ли у меня кто-то...
- ...не хочу знать...
- ...никого.
- Врёшь!
- Ни единого раза.

Она помолчала... Это было правдой, но не вполне: она дважды пыталась, честно пыталась. В обоих случаях сбегала прямо из постели, в первый раз – торопливо натянув лифчик только на левую грудь, во второй – оставив в шикарнейшей прихожей любимую босоножку, другая была запущена ей вслед талантливой рукой «нашего известного автора».

Аристарх за её спиной не шевелился, только руки сильнее сжал, аж дыхание пресеклось.

– Эй, ты чего? – окликнула его тихонько. – Отпусти. Что там за мокрица у меня на плече? Ты что, ты... плачешь, дурень?!

Вдруг он возник на пороге её комнаты, в доме на Киселёва: тощий, голый, семнадцатилетний, – в день, когда их чуть не застукал папка. За спиной сияли красно-жёлтые стёкла веранды, и цветной воздух клубился в отросших кудрях (опять надо стричься: ну и волосья!) – на мгновенье превратив его в первого человека в райском саду.

Разбежался, прыгнул к ней в кровать.

– Чокнулся?! Ты меня зашибить мог!

– Ни за что. Я прицелился... давай подвинься.

Кровать у неё была узкая, девичья. Как они умищались, уму непостижимо.

– Почему ты никогда не признаёшься мне в любви?

– Че-го-о? – вытираю свои синие зенки.

– Как все люди. Как в книгах, в поэзии: «Я вас люблю безмолвно, безнадежно...»

– Ну, это... – обескураженно произнёс он, – это же как-то... не про нас.

– Как это – не про нас?!

– Нет, я могу, – перебил торопливо: – Люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю... и ещё два миллиона раз, если тебе так нужны эти идиотские...

– Идиотские?!

– Ну, послушай... – он ладонью открыл её лоб, запорошённый рыжими прядями. – Это вот как: стучат в дверь, на пороге – человек с вываленными кишками, мычит: «Спаси меня!» А ты ему: «Вытирайте ноги и не забудьте волшебное слово «пожалуйста». У нас же всё на лбах написано, и кишки вывалены, и зенки вытираются... Мы – это мы, на виду у всех. Теорема Пифагора: две руки, две ноги, голова и хер...

– Фу! Что за слова...

– *Хер? Слово как слово, а как его ещё назвать? Хер он и есть... штука полезная... – Скосил вниз глаза: – Вон, глянь, отзывается, знает свою кличку... как собака...*

– *...хвостом вертит... хороший пёсик.*

– *...правда он лучше выглядит без... намордника? Погладь его, скажи: «хороший пёсик»!*

– *Хороший пёсик... хороший пёсик... хороший...*

Так и плыли в сон тихой лодочкой...

Голоса ещё сочились по капле, замирая, обрываясь, проникая друг в друга, – рваный судорожный вздох, два-три слова, бесстыдно обнажённых, и это уже были не слова и даже не мысли, а просто выдох, голая боль, разверстая рана; незарастающая, пульсирующая культя ампутированной жизни.

Одинокая песня жаворонка, висящего над глубоким медным глянцем вечерней реки.

* * *

Под утро он снова поднялся, невольно её разбудив (*да что ж это за синдром блужданий? Привязывать тебя, что ли? Вспомнилось, как маленький Лёшик каждую ночь босиком прибежал к ней в кровать*).

Шатался где-то по дому, шлёпал босыми ногами по лестнице. Из тёмного коридора глухо донеслось:

– Где здесь туалет, етить-колотить?

Да, ночник забыла. Впрочем, им было не до ночника.

– От двери направо.

– Ну, и полигон...

– Тут хлев был. Председатель коз держал.

– Это какие-то прерии, а не... и где тут нащупать... а-ябть!!! – похоже, налетел на книжный шкаф.

– Выключатель над деревянной лошадкой.

– Твоя милая лошадка и лягнула меня по яйцам!

Надежда вновь засыпала в изнеможении...

Сознание норовило улизнуть, сбежать в сон от неподъёмного потрясения последних часов, от непомерного, высоченного, тяжеленного счастья. Вскользь подумала, что спать-то теперь вообще нельзя, надо время ценить, каждую горестно-сладкую минуту, когда, теперь... вместе... не отрывая глаз. Так и ходить – боком, не расцепляясь, как инвалиды, – *а мы и есть инвалиды, два старых пердуна, контуженных юношеской страстью...* Только не было сил; силушек не осталось ни капли. Она засыпала, уже скучая по его телу у себя за спиной (*сквозь дымку сна: он что, не привык засыпать с женицой? а ты – ты привыкла хоть с кем-то засыпать? ваши потерянные тела просто ошалели друг от друга, и потому ты лежишь как подранок, а он мечется как подорванный*), – неудержимо погружаясь в рассветный, залиvistый птичий дребадан...

Уже баба Маня прошлась-проплясала по избе (на плечах – шерстяной лазоревый платок с золотыми розами), задорно припечатывая: *«Одна нога топотыть, а другая нэ хотыть, а я тую да на тую, да и тую раздротую...»*

...как вдруг Аристарх – где-то рядом – резко двинул стулом и проговорил изменившимся, осевшим каким-то голосом:

– Не понял. Где это я? Когда?

Она с усилием разлепила глаза и зажмурилась от света лампы: он стоял у стола и держал в руке фотографию. Поскольку там одна только и стояла, Надежда всё поняла. И всё это было так нестати!

Там, победный и праздный, в элегантной куртке и дорогуших джинсах, в каких-то дурацких крагах, на фоне мотоцикла запечатлелся Лёшик: прошлым летом мотался по Сан-Марино с кодлой своих инфекционистов. Где-то они выступали вроде бы – на бульварах, в барах... или, чёрт его знает, – в ратушах.

«О, не-е-т, боже мой, – подумала она, закрывая глаза в безуспешной попытке защититься ещё и от этого. – Только не сейчас!»

Вообще, она не имела привычки расставлять по столикам и книжным полкам фотографий любимых лиц, ибо всё носила в себе и пока ещё, как считала, ничего не растеряла и не нуждалась в предъявлении фотографической и топографической любви. А эту небольшую, снятую чьим-то телефоном и овеществлённую в фотокиоске карточку принёс сам Лёшик, – во-первых, помириться после долгой и хамской с его стороны размолвки, во-вторых, похвастаться мотоциклом, который недавно освоил. Фотографию втиснул в дешёвую золочёную рамку (намёк на якобы мещанский вкус матери) и выставил в центр стола – любуйся, мать! Мир и мотоциклетное благоволение во человецех. После его ухода Надежда отодвинула подарок подальше и слегка отвернула к окну, уж больно поза да и физиономия были у сына самодовольные.

Так вот на что Аристарх наткнулся в своих ревнивых инспекциях! А с первого взгляда, в жёлтом мареве лампы, сходство действительно невероятное.

– Странно... – обескураженно бормотал он. – Ни черта не помню! Маразм. Что за куртка... и мотоцикл?! Мистика, маскарад. Где это, ёлы-палы, и откуда – тут?! Да нет, это кто-то... другой, да?!

– Не сейчас. Мы же договорились: завтра. Всё зав-тра...

Он прыжком оказался возле кровати, рухнул рядом, схватил её за плечи и основательно потрянул.

– Ты рехнулась?! Ты правда думаешь, что я дам тебе спать?! Кто этот парень?! Где он? Когда?!! Отвечай, или я придушу тебя!!!

Она со вздохом подтянулась на обеих руках, села в кровати. Подоткнула подушку за спину.

– ...дай сигарету.

– Нет! Ты бросила курить.

– Когда это я бросила?

– Шесть часов назад. И навсегда... Давай! Расскажи мне сейчас же, что это за... мальчик. А потом я тебя точно убью! Когда. Он. Родился.

Она год назвала запухшими губами...

Огромная тишина вплыла в открытое окно, застрекотала-затрепетала предрассветным говорком каких-то птах.

– Се... Семён? – прошептал он, осекшись. Каким он маленьким вдруг стал, мелькнуло у неё. Маленьким, съёженным, потерянным...

– Иди ты в задницу со своей семейной сагой, – проговорила почти снисходительно. – Он – Алексей, в честь моего деда. Хотя доброты его, увы, не унаследовал.

Аристарх повалился рядом навзничь, перекрыл глаза скобой локтя, будто хотел ослепнуть, не видеть, будто боялся до конца осознать и зарыдать, и разодрать к чёрту какое-нибудь покрывало, стул какой-нибудь разломать в этой уютной чудесной спальне.

– Как ты... посмела, – пробормотал глухо. Лёгкие его трепетали от нехватки воздуха, от горя, горящего внутри. – Как посмела отнять... всё разом: себя, нашего ребёнка...

– Это не наш ребёнок, – оборвала она спокойно. – Наш погиб. Вместе со мной.

Поднялась, нашарила босыми ногами тапочки (где вы, светящиеся тапки Изюма!), накинула халат, нащупала на тумбочке пачку сигарет. Щёлкнула зажигалкой и жадно затянулась. В свете огонька сигареты её лицо с припухшими губами казалось осунувшимся и резким, и поразительно юным. Выдохнула дым, погнала его ладонью мимо лица, сощурилась и проговорила: – Ладно. Это «завтра», собственно, уже настало. Сядь вот здесь, напротив, я всё расскажу. Только портки надень. Я эту сцену двадцать пять лет репетировала...

* * *

«Дорогая Нина, простите-простите-простите, что не отвечала так долго. Тому были причины, вернее, одна громадная причина, о которой не здесь, не сейчас, а когда-то, возможно, расскажу и даже покажу.

У вас там сейчас жара, а у нас только что бушевал неистовый ливень. Вдруг налетели чёрные брюхатые тучи и сразу же пролились мощными струями. Помните: «Катит гром свою тележку по торговой мостовой, и расхаживает ливень с длинной плёткой ручьевого»?

Ветер, ежесекундно бросаясь в разные стороны, закручивал струи в фантастические вытянутые фигуры на одной ноге. Несколько таких, раскачиваясь и утолщаясь, как удавы, носились по моему лужку и яростно лупили о плитку дорожки, а в это время на небе быстро чередовались молнии: вертикальная, косая, трезубец, белая, алая и, наконец, горизонтальная – во все мои окна, – длинная, изгибистая, с коралловыми отростками. Небо треснуло вширь огненными щелями. Удары грома были такой силы, что испуганный Лукич хватанул меня за колено.

Ещё мгновение, и эти буйство и красота, закипая в небесных парах, понеслись дальше. Я побежала наверх, на третий этаж, досматривать парад молний. Там у меня, Вы же помните, шаром покати, один огромный пустой кованый сундук стоит, купленный у Канделябра, – Изюм спину надорвал, пока его на верхотуру заташил. Мне почудилось, именно в нём спрятался и, стихая, ворочался уходящий гром. А на небе остались только слабые сполохи. Всё это напоминает сильную, но быстротечную страсть или гремучую реку...

Вы когда-нибудь наблюдали громокипящее шествие смерча? Со мной такое однажды произошло.

Когда Лёшик был маленьким, два лета подряд мы с ним провели в захолустном, но милом предгорном селе на Чёрном море. Снимали комнату в доме у одной вдовы, неряхи и лентяйки. Когда она выпивала рюмаху, то вспоминала о супруге, и в её хнычущем голосе слышалось явное облегчение: видимо, покойный заставлял её хоть как-то прибираться в доме. Дом был запущенный, полы рассохлись, голубая терраса облупилась и заросла перевитыми жгутами глицинии, но вот сад... За этот сад, как в старинном романсе, *объятый бархатной жарой*, душу было не жалко отдать! Библейский Эдем, огромный, изобильный, весь засаженный деревьями: гранатом, инжиром, абрикосом и вишней. Вечерами мы там ужинали – в виноградной беседке, за колченогим деревянным столом, поднимая руку и отщипывая от тяжёлой винно-красной грозди парочку виноградин.

Однажды как-то особенно быстро стемнело, над деревьями выкатилась баснословная луна, залила весь сад призрачным гробовым светом. Силуэты деревьев и кустов вдруг обрели потусторонний или, скажем, театрально-постановочный вид: воздух заполонили яркие светлячки, медленно, как во сне, дрейфующие в зеленоватом мареве. Мы с Лёшиком притихли...

А за волшебным мерцающим садом простирался морской горизонт, над которым – это и в темноте было видно – уплотнялось небо, набухая грозным асфальтовым мраком. Внезапно тучу вспорола ледяная рукастая молния, и ещё одна, и ещё! За исполинским харакири в душевной мгле прокатился оглушительный рык, будто сотнями тысяч глоток возопила боевой клич какая-то небесная армада.

Вдруг рядом очутилась Таисья, хозяйка... Сощурилась, вглядываясь в горизонт, и тихо проговорила: «Есть!» Мы стали таращиться в том направлении и увидели, как в брюхе необъятной чёрной тучи возникла и бешено завертелась бородавка. Она росла, росла... вытянулась вниз и завилась штопором. «Смерч, – спокойно пояснила Таисья. – Если до моря дотянется, то на нас пойдёт». И, заметив моё первое движение: схватить Лёшику на руки и переть с ним в горы, пока достанет сил, – придавила рукой моё плечо и сказала: «Не бздо. Нас не тронет. Вверх по реке пойдёт».

Между тем циклопический хобот смерча дотянулся-таки до моря и стал пить воду. Сколько он набрал? Сотни, тысячи тонн воды? Не знаю, но в какой-то момент насытился и двинулся к берегу. «По реке пойдёт, – повторила Таисья и зевнула, – спите спокойно».

А утром ждала нас развязка спектакля, эпилог действия античного размаха. Смерч прошёл по меленькой речушке, запасливо подобрал из неё водицы, поднялся в горы и уже там вывалил в её русло многотонную массу воды. Вмиг жалкая речушка превратилась в неукротимый поток, сметающий любое препятствие: волна библейского потопа ринулась вниз, сшибая по пути гигантские валуны, с корнем выдирая мощные деревья, – так что наутро мы увидели широкую запруженную реку...

Вот, собственно, что с моей жизнью на днях произошло, с той только разницей, что несёт меня и дальше в самой сердцевине смерча – с вырванными корнями, ошалелой кроной, ободранной корой.

Только не беспокойтесь обо мне. Я счастлива...

Кстати, насчёт сборника рассказов о любви. Ваша идея хороша, но вспомните, что в пятнадцатом году у нас с Вами выходил уже сборник с похожим составом. Я бы двинулась в другом направлении: в сторону истоков и... внутренней свободы, и памяти, и хулиганства. У Вас, помнится, есть куча устных зарисовок о бакинском детстве: ярких, смешных и не совсем приличных, которые Вы рассказываете за рюмкой смачно и с акцентами, смешно тараща глаза. Это самое то! Пока Вы год или два будете в слезах и в поту строгать увесистый том своего романа, нас покормят эти хлебные крошки. Сядьте и вывалите из-за пазухи на бумагу всё: детство, родню, соседей, все обиды и драки, и детскую вороватость, и подростковую любовь, и страх... и вообще, стыдобу всех мастей. Оно всё давно у Вас в голове и в сердце, так что времени на всё про всё даю два месяца.

Подумайте над некой общей струной, что звенит и стягивает детские впечатления каждого из нас, где бы мы ни родились, где бы ни выросли, и не забудьте присобачить те байки про соседку, которая, помните, говорит сыну: «Не надо привыкать к бабушке, она скоро умрёт...», а заодно и про саму бабушку: «Клара Вениаминовна, меняю свою больную ногу на ваш цвет лица». Я правильно помню? Мы сидели у Вас на балконе, на ближней горе зелёными кольцами светились минареты, а Вы рассказывали про своё детство. Пару бутылок красного мы тогда уговорили; оно называлось как-то чудно: «Псагот» – от чего в воображении возникали псарни, готические крыши, созвездие Гончих Псов. Было очень хорошо, свежо так, природно... И дышалось легко, потому что из ущелья к нам поднимались духи ночной пустыни: чабрец, лаванда, мята и розмарин, а Иерусалим сверкал на горах и стекал по склонам ручьями жёлто-голубых огней.

И вот ещё, вот ещё что (чуть не забыла!): про соседскую девочку напишите, как та выносила горшок брата на помойку и, опорожнив его, надевала на голову и шла так наощупь, вытянув руки, – голова в горшке, а Ваша бабушка, глядя на эту картину с балкона, растроганно говорила: «Как она любит братика!» И про армянскую свадьбу во дворе не забудьте, когда невесту спрашивают: «Сусанна-дорогая, пачему ты нэ плачешь в такой день?!» А она гордо так: «Дядя Гурген, пусть плачут те, к кому я иду...» В общем, вспомните всякое такое, что у Вас пока лишь в памяти, а нужно выковырять его наружу, это богатство, для Вас привычно затвержен-

ное, а для читателей – чистый восторг и упоение. Не всё ж кормить людей трагедиями и философией, дайте им чуток улыбочивой, забавной, тёплой южной жизни: про то, как Ваша бабушка готовила «латкес», про виноградную беседку, где Вы, как лисица, закапывали «клады», и про похороны молодого бандита с соседней улицы – когда Вас, пятилетнюю, послали в булочную, а тут процессия, и гроб опустили на два табурета, и Вы подошли, встали на цыпочки и положили на грудь покойнику связку сушек, а молодая вдова зарыдала... Помните, в этом месте Вашего иронического рассказа я тоже зарыдала? Умоляю, Нина, ничего из этого не забыть, не потерять! Залудите веселуху, чтобы все заплакали.

А меня опять простите, я сейчас не могу долго сидеть у компа, я вообще не могу надолго присесть, – не стану ничего говорить, даже не спрашивайте, только одно: жизнь мою сотрясло, закрутило и подняло на гребень такого девятого вала, что меня качает и качает, и вообще, что-то неладное с гравитацией. Как бы мне совсем не улететь, несмотря на мой вес.

Ваша Надя».

* * *

Вот, ей-же-богу, мало что могло в этой жизни оглушить Изюма или там помешать ему шествовать по этой самой жизни невозмутимой модельной походкой. Не довольно ли колотила его судьба – и башкой, и многострадальной задницей – о стены-кирпичи-заборы! Нет, Изюм был человеком бывалым, прозревающим события и людей, как сам говорил: «сквозь говнецо, шарады и мечты».

Но то, что с ним стряслось – там, на веранде Надеждино дома, и потом, когда, бесславно его покинув и прометавшись на своём одиноком диване всю ночь без сна, он пытался разгадать, сопоставить, нащупать вывод... – нет, всё это не поддавалось осмыслению. Двери-окна у соседшки наутро были закрыты, и тревога, обидное чувство непричастности и упущенного шанса одолевали Изюма с грызущей настойчивостью. Он даже на халтуру к Альбертику не поехал, а всё утро бродил по двору, искоса поглядывая на соседские окна: а вдруг там убийство произошло?! А чё, и запросто: один убил другую, а потом закололся сам – у Петровны, кстати, прекрасные ножи фирмы Wüsthof, полный поварской набор. Слышал же вчера, как этот доктор недоделанный возопил душераздирающим шёпотом: «Дылда!» – что само по себе, согласитесь, оскорбительно и может служить началом разборки. А Петровна...

Вот с ней как раз всё было неясно: то ли испугалась она, то ли занемела вся, то ли изнутри занялась каким-то сияющим пожаром... А теперь – что? Куда бежать, кого звать, в какое МЧС звонить – трупы вытаскивать из-под завалов трагедии? А то, что меж этими двумя простёрлась трагедия, у Изюма сомнений не было.

Когда беспокойство достигло напряжённой дрожи в груди, а тишина на соседнем участке набухла *зловещим преступлением*, Изюм, прихватив ломик в сарае, двинулся к заветному лазу в заборе. Напоследок бросил взор на окно соседской спальни... и ломик выпал у него из руки, больнёхонько хрястнув по ноге в кроссовке.

Окно было настежь, а в нём – *хоба!* – стоял тот же самый, только голый, доктор. То есть виднелся он голым по пояс, в верхней, так сказать, модели корпуса, но, судя по выражению лица и блаженному взгляду, убежавшему куда-то поверх крыш и верхушек деревьев, впивал красоту деревенского утра целиком-голяком, посылая всей грудью привет этому миру, всеми потрохами отдаваясь облакам, столбам-проводам, пруду, деревьям и стоголосой птичьей рати. Да что там гадать: голым тот был, как есть голым, в чём мать родила. Уж Изюму-то не знать: человек в трусах взирает на мир куда более ответственно и деловито.

Изюма натурально пришибло; его даже зазнобило, видно, микроб какой подхватил, хотя он и догадывался – что за микроб его буравит. Он поплёлся к себе, заварил чай с имбирём и лимоном, выпил и лёг на диван.

Несправедливость этого мира накрыла его свинцовой задницей, уселась на грудь, терзала невиданными хамскими картинами, какие присочинить его богатому воображению ничего не стоило. Значит, вот она, моральная высота некоторых якобы достойных женщин: не успел мужик ступить на её веранду своей посторонней ногой, как с него в мгновение ока спадают труселя? А раз так, то с очей Изюма спадает пелена благоговения! И не надо нам ля-ля, не надо классики и музыкального момента, не надо многолетних чинных чаепитий из кузнецовского фарфора, и даже скатерти дружской работы – спасибо, не надо, – если всё сводится к этой банальной картине: голый проезжий в окне её спальни!

Господи, ну почему он-то, Изюм, только раз и глянул в её спальню, и то когда в прошлом году там батарея текла, а этот, бродяга безродный... этот бритый сумрачный дундук, чёрный ворон окаянный, – да что она в нём нашла, а?!

«Нет-нет, при чём тут «что нашла», – укорил себя Изюм. – Тебе-то, парень, что с того? Нашла и нашла. Ты – человек семейный, хоть и разведённый, и никаких видов на Надежду иметь не мог, не должен, и привет тебе горячий! А чего ж ты залупаешься? – честно спросил он себя, и честно ответил: – Да просто обидно!»

И вдруг, часа три спустя – звонок, и голос Надежды – утренний, звонко-рыжий, каким он его любил, воскликнул:

– Эй, сосед! Изюм Алмазыч! Прости за вчерашнее, а? Нездоровилось. Ты приглашён, слышь? Давай, подваливай. Тут не то поздний завтрак, не то ранний обед намечался... А который час-то? – спросила она в глубь комнаты, и голос *того* ответил: – Я не смотрел, часы наверху.

Часы его наверху, где вся его одежда, мысленно добавил Изюм, а в столовой напольные старинные, с гравировкой серебряной, он, конечно, и не заметил. И о настенных-дивных, что в малой зале, с медными гирьками под еловые шишки, а вызывают так, что сердце млеет... – и о тех понятия не имеет, потому как всю ночь совсем иным *тик-так*ом занимался. Изюм представил, как тот бродит сейчас, голый, по столовой, *гремя причиндалами*, и помогает Надежде собирать на стол. Вслух же прокашлялся и степенно спросил:

– Принести чё-нить? У тебя обычно с соусами как-то не танцует.

– Какие соусы?! Глазуньей перебьёшься, – отрезала она.

Когда Изюм вошёл и неуверенно встал на пороге, обнимая кастрюльку, стол в столовой был уже практически накрыт, а скатерть постелена – отметил он, – та праздничная, от Нины.

– Я рис сварил, – простецки сказал, – такой, неформатный. Однако на стол поставить можно – для интриги. Хотел ещё супчик соорудить, деликатесно-элитный. Но у меня супчик острый, не все бывают довольны.

– Знакомься, – отозвалась Надежда, кивнув куда-то себе за плечо и сосредоточенно нарежая огурец в салат.

– Чё знакомиться-то, – удивлённо буркнул Изюм. – Его кто вчера привёл...

– Нет, ты познакомься, – терпеливо и твёрдо повторила Надежда. – Это Аристарх Семёныч, мой муж.

Ну, тут Изюм что – совсем охренел. Глупо так ухмыльнулся, спрашивает:

– Как муж? В каком смысле?

Хотя что там спрашивать: не дураки, понимаем, картинку в окне видали.

Нет, конечно, сейчас тот был вполне одет, и даже, по всему видать, свою рубаху в синюю клетку успел выстирать, высушить и отгладить – будь здоров (а скорее всего, эти действия сама Петровна и произвела). А ещё Изюм отметил то, чего раньше не замечал, трудясь с Сашком на объекте бок о бок, а может, раньше тот как-то горбился или ноги подволакивал да и глаза прятал? Сегодня он выглядел каким-то... молодым, что ли, синеглазым, ладным и совсем не

хмурым: рубашечка отглажена и красиво так расстёгнута у ворота, шея открыта, загорелая, рукава по локоть закатаны, джинсы так ладно сидят, прям танцор, хоть в Аргентину его – танго крутить. По кухне плавал зигзагами, как крупная рыба в знакомом пруду, и по кругам этим заметно было, как он старается быть поближе к Надежде, как любовно, тесно её оплывает, то и дело мимолётно касаясь плеча или шеи, а разок даже тайком огладил её в районе задницы – думал, не заметно? – срамота и несдержанность!

Нет, вообще-то свободный человек может объявить себя кем угодно, хоть королём-лиром, но уж «мужем» так называемым... давайте не будем! И дело не в том, что никакими «мужьями» вокруг Петровны никогда и не пахло, а в том, что и Лёха, сынок её, уж на что заковыристый перец, редко осчастлививает местный пейзаж своим появлением, а, знакомясь с Изюмом, простодушно представился Алексеем Петровичем (а вовсе не – как? – Арис-тархо-ви-чем? язык сломаешь!). «Что, тоже – Петрович?» – удивился тогда Изюм, а тот шутовски поклонился и: «За неимением гербовой пишут на той, что подвернулась», – и руками развёл, и бог его знает, что этим хотел сказать.

– Хм... ну, муж так муж, – деревянно заметил Изюм. Отодвинул стул и остановился в ожидании: неудобно как-то первому садиться, а увлекательные разговоры затевать... эт увольте, в такое странное утро. Да и о чём говорить? – У Нюхи-то течка, – сказал он, нащупав наконец нейтральную тему. – Лижет меня, как безумная одалиска. Стоит прилечь, она – прыг на диван и пошла языком чесать: лижет-лижет, прям до смерти зализывает, я весь в синяках.

Ну и что он такого сказал? Эти двое переглянулись и просто согнулись от хохота: Надежда салатницу еле до стола донесла. Рухнула на стул и давай заливаться, слёзы вытирать, салфетки под носом комкать. И Сашок туда же – гогочет, гогочет... остановиться не может. Что ж: синяки им показать? Изюм и показал: руки вскинул, стал рукава рубахи закатывать... Ржут, дурачье, чуть не икают, а Петровна всё: «Прости, Изюм... прости, это не над тобой... это просто...»

И тут понял Изюм: это не над ним, это они от счастья гогочут, это из них неуправляемое счастье прёт и грохочет во всех регистрах; просто он, Изюм, своим невинным замечанием о Нюхе отворил, может, тайный клапан, что заперт был много лет в отсутствие персонажей, а оттуда хлынул пьянящий, сладкий, горький дурман. Вспомнил, как вчера Надежда имя произнесла: «Аристарх», – с какой болью, с какой кровью его выхаркнула! И вновь подумал: это что ж между ними стряслось, что имя его прямо горло ей рвёт!

И всё же у Изюма был неисчерпаемый кредит доверия к слушателям. Смутить его или обидеть хорошим настроением было практически невозможно. Как только Надежда прямо со сковороды вывалила ему на тарелку симпатичный шмат глазуни, да с помидорами, да с луком, да с грибочками, и селёдочку серебристую, «Матиас» его любимый, в тонком кружеве лучка, подвинула поближе, – он сразу всё и простил, смазал в памяти утреннюю картинку в окне и пошёл наворачивать:

– Лукич-то наш – герой! На прошлой неделе вон рыбачили с Ванькой на Межуре, взяли Нюху с Лукичом. Пока с удочками то-сё, глянь – с того берега лось переправляется. Во пейзаж: башка над водой, рога ветвистые – на десять шляп минимум... Нюха, свинья моя алабайская, напердела от ужаса, струхнула так, что легла за корягу и лапами голову накрыла. А Лукич – шасть к воде и давай лаять как подорванный, я аж испугался, что разорвётся от насады. Лосяра этот охеренный опешил, подумал, видать, своими рогами... и решил не связываться. Развернулся и обратно пошёл. А наш перспективный лабрадор... представляешь – в воду за ним! Тут уж мы с Ванькой побросали удочки и тоже – в воду: всё ж таки лось, большой зверь, опасный. Вытащили, короче, твоего задиру! Такие вот заплывы и рекорды...

– Правда, что ль? – восхитилась Надежда.

У неё глаза сияли, хотя лицо она старалась держать в строгости. Волосы свои победоносные тоже строго убрала сзади в пучок. Но вот голос и глаза выдавали какое-то безумие: то ли счастье, то ли отчаяние, в общем – оторви и выбрось! И ещё губы какие-то другие: молодые-пухлые, воспалённые, поди, после ночи-то, ещё бы. А тот, Сашок, только на неё и смотрит, глаз не сводит.

Да что ж это они, как обречённые, вдруг подумал Изюм, будто их обоих на телеге – прямо к плахе дубовой! И сам себя оборвал: тю, дурак, какая плаха, что за поэзия?! Смотрит и смотрит, и понятно: на кого ему – на тебя, что ль, глядеть? Нагляделся небось в бригаде у Альбертика.

– Да я этого лося потом аж два раза во сне видал!

– А я... – вдруг проговорил Сашок, как очнулся, – я однажды видел ангела. И не во сне.

Изюм с Надеждой на него уставились, а он потянулся вилкой в середину стола, где стояла белая фарфоровая бадья с наваренными сардельками, подцепил одну, донёс до своей тарелки и принялся методично её нарезать.

– Меня после операции привезли в палату, а я ещё в полунаркозе плыву. То вынырну, то снова барахтаюсь в тумане. Отворил глаза – вокруг меня муть, голубизна, косые стены куда-то летят, а прямо надо мной ангел парит: сам алебастровый, голова в белом облачке, глаза длинные-прекрасные, как на грузинских фресках... У меня язык едва шевелится. И я на иврите, потому как – ясно же, на каком языке *там* следует разговаривать: «Ты – ангел?» – спрашиваю...

«Нет, – говорит. – Я – Мухаммад, медбрат».

Смешной моментик, да; но никто из них не улыбнулся. Надежда спросила тихо: «Это когда... тот шрам?», а Изюм подумал: «Ни хрена себе – с ангелами на иврите...»

– Да нет, – легко отозвался Сашок. – Это в другой раз.

Тут Изюма как поленом по башке: а может, и правда муж? А вдруг он – разведчик, и всю жизнь где-то там... по радиации, тайным шифром, или как это сейчас? Заслан, заброшен много лет назад, и так далее, и даже сын отца не знает, и отчество другое, для прикрытия.

Изюм прямо похолодел от восторга: точно! Наш шпион, внедрённый для какой-то важной государственной задачи. Приехал жену повидать, которую сто лет не видел. Вон Штирлицу-то жену издали как раз в шалмане показывали, и та сидела-плакала, бедная баба. Ну, дела-а-а!

Правда, не очень как-то всё оно сходилось: подённая работа Сашка в бригаде у Альбертика, и то, как Изюм вдруг пригласил его к себе, а мог ведь и не пригласить? – и то, с какой неохотой тот согласился наведаться к его соседке... Что ж получается: они оба не ждали этой встречи? В общем, запутался Изюм, притих...

И хотя его никак нельзя было назвать бирюком, и свободные мнения всегда изливались из его организма без всяких, как сам он говорил, таможенных деклараций, всё же он не решался заслонить своей персоной интимную суть данного застолья.

Тогда уже Петровна подсуетилась насчёт светской беседы. Спросила – как, мол, поживает Маргоша, супруга дражайшая, и как она смотрит на его мозговитую деятельность. Тема, прямо скажем, больная – на что, ясен пень, Петровна и рассчитывала, надеясь Изюма разбередить. Ну он и понёсся с места в карьер:

– Марго-то? – отозвался радостно. – Да мы с ней без конца срёмся. Коллапс и ужас. Она бы хотела устроить мне *брекзит навеки*, но понимает, что тогда её драгоценному имени настанет полный и окончательный аншлюс. Ну, и делает разные пакости: позавчера высыпала в мой ящик с инструментами банку мелких гвоздей. Говорит: «Я подам на алименты за десять лет», – Костику как раз десять исполнилось. «Ну, что ж, – я ей в ответ совершенно незамут-

нённо: – Тогда встань с моего стула, вынь изо рта кусок моей колбасы. И не забудь посчитать за пять лет алименты на собаку».

– Эт что за алименты такие, на собаку? – поинтересовалась Надежда.

– А кто Ньюху шарлоткой кормил, херес ей в рюмочке подносил? Кто ей педикюр делал?.. Вот чего ты ржёшь опять, не понимаю? – спросил Изюм с физиономией лукавой донельзы. – Кстати, и тебе бы следовало насчитать за Лукича... А Маргарита всё: Дэн, Дэн! Это герой её нынешнего романа. Дэн то, Дэн сё... Дэн зарабатывает шестьдесят тыщ в месяц. А забыла, говорю, как твой Дэн сюда приезжал и в икре чёрной валялся?

– В икре-е?! Пряма так валялся? Откуда ты столько икры надыбал?

– Я ей говорю: давай совместно двигать в будущее стезю нашего ребёнка! Я уже не пью, мозги у меня разморозились, стали мультикультурно объёмными. А она опять: алименты! И, знаешь, пропёрло меня. Ладно, говорю, я тебе устрою: сначала бесплатную распродажу, потом – короткое замыкание! И Серенадке скажу. Та не посмотрит: племянник – не племянник, живо отправит в Омск картошку копать!

Надежда испытывала странное чувство гордости и удовольствия за Изюма, – как всегда, когда тот взбирался на невидимую трибуну и нёс вот такую восхитительную байду. И, как всегда, по мере наращивания пылкости и отваги в спонтанно возникающих диалогах, которые – подозревала она, хорошо зная Марго, рабовладелицу Изюма, – в реальном времени просто никак не могли прозвучать, фигура этого незадачливого деревенского Санчо Пансы обретала социальное бесстрашие и даже некоторое величие. Всё же Изюм был на диво театрален и, в отличие от литературных своих потуг, говорил всегда как по писаному, вернее, как *по написанному* неким небесталанным драматургом, удачно смешавшим в прямой речи персонажа разные пласты современной городской, телевизионной и простонародной бодяги.

– Ну, хорошо, – решительно оборвала она соседа, зная, что тот ненароком может забрести в самые дремучие дебри и долго потом искать дорожку назад. – А что на изобретательском попроще, как там ноу-халяу, продукт твоего блистательного интеллекта?

– Давай, смейся-смейся... Хе! Скоро будешь ползать у подножия моего чугунного монумента, помпу у меня вымаливать.

– Помпу?! Что за помпу? – искоса поглядывая на Аристарха и улыбаясь ему, воскликнула Надежда. Ей сегодня, после пережитого утром, очень хотелось развеяться, завить верёвочкой прошлое горе, заново полюбить окружающий мир, соседей – всю округу.

Изюм слегка откидывается на стуле, смотрит, прищурившись то на Петровну, то на гостя её (мужа-немужа), несколько мгновений сучит короткими пальцами, словно отряхивая с них пыль или муку... Наконец говорит:

– Да банальная вещь, видишь ли... Банальная, в сущности, но изысканная мысль пришла мне в голову. И никому же раньше это не стукнуло, а? Вот смотри: приезжает разно-всякий народ на Межуру, всё лето ездют, все домики постоянно заняты. Но! Объединяющая примета: каждый тащит на горбу пятилитровый баллон воды. А я такой сижусь-думаю: что, если в каждый домик поставить по кулеру? Воду туда наливать хорошую, чистую, из колодца: у Натальи, вон, или у тебя, или ещё у кого брать. Ситечко туда вмонтировать – комаров отлавливать. Эти кулерные бутылки – сто рублей штука. А помпа для больших кулеров – пятьсот рубликов. Клиент заходит в дом, а его встречает услуга золотыми буквами: «Платите сто рублей, пейте вечно живую воду из наших кулеров!» Что, скажешь, не заплатит человек такую мелочёвку, чем волоочь на себе бочки с «Ашана»?

– Пожалуй, заплатит.

– Ну! Вода же чистая, глубокая. У нас в колодце водичка очень вкусная. Не ржавеет, не плесневеет, не хмурится, – настоящая народная живая вода.

Изюм, когда хочет убедить слушателей, и сам вдохновляется, расправляет свои роскошные оперные брови, рубит ладонью воздух на кубики, аргументами так и сыплет... В сущности,

он похож на лунатика, который гуляет по коньку крыши – бесстрашно, бездумно, под магическим светом луны. Потом спроси у него – как получилось, что влип в очередной майонезный цех, он и сам растеряется, не понимая ни черта. Это всё натура проклятая – артистическая. Изюм просто в образ входит, и его, как лунатика, не дай бог окликнуть или оплеуху залепить: загремит с крыши как пить дать, не опомнится.

– А для православных можно у батюшки бутылку освятить, с отпущением грехов... Дайте же мне сотнягу за эту благородную купель! Что я, за месяц не нахреначу на десять тыщ с молебнами? Это ж, ты вдумайся, какое ноу-халяу! Да отсюда люди будут святую воду в бутылочках возить, как из Лурда – помнишь, Петровна, ты мне детектив привозила, убийство в Лурде?

– Мысль... плодотворная, – подтвердила Петровна с некоторым сомнением в голосе.

– Ну! Я с докладом к Гнилухину: так и так, Петруха, есть, говорю, бизнес-проект, готов обсудить деловое партнёрство с тайной исповеди. И что ты думаешь? Вчера узнаю, что они закупили кулера с помпами, а мои материальные интересы опять безжалостно попораны... Блиндазе! Опять меня объегорили, идею грабанули. Что ещё им отдать, акулам мирового капитала, светящиеся тапки, мою заветную мечту, вершину научной мысли? Так те мгновенно всюду появятся, где только не хошь.

– А эти самые тапки... – осторожно произнёс Аристарх, обращаясь, скорее, к Надежде, – я второй день о них слышу. Они вроде такого символа, да?

– И не только тапки! – горячо воскликнул Изюм. – Можно ведь и стульчак этими нитками обшить, в темноте мужику ловчее целиться! Тут в целом бизнес-идея грандиозная! – Он подался к Надежде: – Петровна! Это не у тебя я швейную машинку видал? Нет? Жалко... Я ходил, думал: блинович, у кого я видал машинку? На ней же можно эти тапки прострачивать. Нет? Тогда шило купи! Я-то умею им пользоваться. Я эти твои экспериментальные тапки шилом простегаю. А нитка, то вообще ерунда! В интернете её много фирм продают. Она разных цветов и разной толщины, стоит копейки. И принцип работы прост весьма: днём она заряжается – вон, поставь тапки на подоконник и вдохновляйся, – а ночью свет отдаёт, как далёкая звезда...

Минут сорок уже, как понял Изюм, что пора уходить, ибо заметил, что Сашок правой рукой то хлеб щиплет, то дольку огурца в рот положит, а левую под столом держит на хозяйской коленке, просто так спокойно, уверенно держит, и ясно, кому это колено теперь принадлежит.

Три раза уже заводил Изюм протяжное: «Ох-хо-хо-ошеньки... Ладно, пойду». И всё не уходил. Не отпускало его... Странная штука: было в этих двоих, даже спокойно сидящих, что-то багряно-тревожное и такое полное, будто вчера соединились разодранные когда-то половинки одной жизни, и вот сидит эта жизнь, так жадно, так страстно и мгновенно сросшись в единое целое, пылает огненным сросшимся швом, и вроде больше ничего ей не нужно, а сосед, брехун... ну, пусть его болтает. Может, он даже как-то украшает их новую полную жизнь.

Вот, значит, как, думал Изюм, вот как оно бывает: доплёлся бродяга безродный, нога за ногу, подняв повыше ворот. А его тут, как в сказке, всю жизнь царица ждёт, да в каком тереме ждёт – ты ж оглянись, чувак, какие чудеса вокруг! Одна только печь, облицованная знаменитой московской керамисткой, со скульптурной группой наверху: Пушкин с Лукичом, обнявшись, вдаль глядят, – одна эта печь чего стоит! Ты разгляди, чувак, в старинной горке чудеса императорского фарфора, сквозь три столетия пронесённые из Санкт-Петербурга через Ленинград, и вновь в Санкт-Петербург! Ты разгляди эту хрупкую синеву, эту невесомость, ты ощути, как едва ли не в воздухе парит прозрачная чашечка, сквозь которую что кофе, что чай, что компот мерцают золотым слитком очарованной мечты!

Нет, ничего ему, кроме неё самой, не нужно. Сидит, чувак, хлебушек по-тюремному крошит, держит руку на дорогом ему колене. И должно быть, ждёт не дожждётся, чтобы Изюм отвалил...

– Не-ет, заниматься каким-нибудь строительством-фигительством... – это не моё. Пора ставить жизнь согласно генеральному замыслу. Пора думать о творчестве на коммерческой основе.

– Изюм, ты вроде не пил, но что-т тебя в открытое море понесло, – терпеливо заметила Петровна. – Бери вон ещё сардельку, она очень творческая.

– У меня какой план был? Вот думаю: ещё две зарплаты, и куплю себе станочек по нанесению шедевров на стекло, а ещё станочек для холоднойковки. И это будут не просто слова, а конкретное творчество, наконец. Понимаешь? Ты веришь в меня? Принесу тебе, скажу: «Смотри, Петровна! Вот поднос я сделал: залитый поднос, два подстаканника». Тебе ж приятно будет, что это лично я сделал, а не купил анонимно в магазине?

– Ну? Где же?

– Да погоди ты, Петровна... куда мчишься. Дальше с этим надо что-то делать, реализовать продукцию, строить на своём участке студию, открывать галерею. Можно и центр искусств засандалить...

– Нью-Васюки, – подал голос Сашок.

– Что?

– Ничего.

– Ага, вот, к Витьке, «Неоновому мальчику», за щенками много народу ездит. Можно договориться на акцию: покупаешь щенка, получаешь бонус: поднос с подстаканниками. Круто? С другой стороны, Витька мгновенно потребует доля, а я ему тогда: ты мне сначала за Дед Мороза – доля. Доля за доля... – и пошёл ты на хер, и не ходи сюда боле. О! Я этот сценарий очень даже предвижу! Я это прекрасно мысленно рисую...

Надежда видела, что на Аристарха речуги Изюма особо развлекательного впечатления не производят, что он, пожалуй, наслушался этого клоуна по самое не могу; уже подумывала завершить «извинительное», как мысленно его определила, застолье, но неожиданно для самой себя проговорила:

– Изюмка, ну хватит бодягу лить. Слышь, а что твой архив – далёко? – повернулась к Аристарху, сказала: – Рожи там совершенно изумительные, не пожалеешь! – И к Изюму: – Тащи его сюда на сладкое, а я чай заварю.

Она набрала воду в чайник, включила его, потянулась за чашками к навесному шкафчику. Аристарх смотрел на неё не отрываясь. Так шли её длинным ногам синие вельветовые джинсы и просторная блуза лавандового цвета, и вообще, чёрт подери, так ей шла полнота! Вот сейчас он по-настоящему понял толстовское описание внешности Анны Карениной, которое в юности его, пацана, озадачивало и даже шокировало: Анна, писал Толстой, была «полной, но грациозной». Как это возможно, думал. В их посёлке было видимо-невидимо толстуших баб, и все они настолько отличались от мамы – вот уж кто действительно был грациозной и вовсе не полной. Вот мама, думал, очень подошла бы к образу Анны.

Сташек пропускал толстовские приземистые описания, считая их «стариковскими» и, прощая с натяжкой, скакал по страницам дальше, дальше – до самого поезда, до трагического Вронского, уезжавшего на войну... Видимо, надо было пожить, ну не столько, сколько Толстой, а вот как раз до вчерашнего вечера, чтобы ощутить это описание как пленительное, манящее, чуть ли не обнажённо чувственное. Сейчас он уже не вспоминал и не представлял, да и не хотел бы представить Дылду иной, чем вот такой: плавной, манящей, ладной и очень притом подвижной и ловкой.

Очевидно, и вполне объяснимо, что тепливый соседущка по уши в неё влюблён. И охота же ей сидеть и слушать этого шалтая-болтая! Вот к чему им сейчас его идиотский «архив», какого лешего, когда им обоим надо бы денька три помолчать, просто стоя у окна в обнимку, как стояли сегодня утром оба с заплаканными лицами – после её-то рассказа. Постоять, глаза

в глаза, отирая ладонями скулы друг другу, вмещая все потерянные годы в одно – отныне – бесконечное объятие.

Только он знал, что не выйдет, не выйдет, приехали на конечную, – хотя она пока и не догадывается, бедная...

– Ты не злишься? – мельком оглянувшись, спросила она, ссылая из ладони заварку в пузатый красно-золотой чайник. – Что-то супишься... Потерпи. Это он от нервов такой растерянный и болтливый. Изюм – человек хороший, но несчастный и одинокий.

– Просто пока не вижу, как мы можем сделать его счастливым. Разве что шило для тапок подарить.

– Ну, не будь же сволочью, – ласково заметила она, и тут примчался Изюм со своим архивом, утрамбованным в коричневый докторский портфель годов пятидесятих прошлого столетия. Влетел – деятельный, раззадоренный приглашением Надежды Петровны. Осторожно отодвинув чашки, вывалил прямо на скатерть богатое и разнообразное содержимое портфеля: грамоты, старые письма, чёрно-белые фотографии, визитки и газетные вырезки. Вот не было печали...

– Ты погоди, не нужна тут куча-мала! – Надежда пыталась ввести энтузиазм Изюма в какое-то повествовательное русло. – Ты сначала мамку с литовцем изобрази, где та фотка, что они сидят на фоне Версальского замка с выпученными глазами, а у мамки банты на плечах, из бархатных занавесок пошиты, и понизу такая изумительная вязь с ошибкой: вместо «Фотоателье Самуил Жуппер» – красиво так: «...Жоппер». Или про интернат. Ну? Где тот выпуск интернатский, группа дебилов?

А только хрен Изюма собьёшь с курса, заданного самому себе.

– Не, Петровна, я понял, про что тебе ещё не рассказывал! Я про Алика Бангладеша ни разу не вспомнил! Это ж мы с ним майонезный цех забурили.

Бангладеш, еврейский хохол. Он и не скрывал. Но странный был еврей: блондин, худой и после первой рюмки – гуляй, рванина! Фамилия у него, конечно, не Бангладеш была, а Зильбер, и отчество какое-то дикое: Фердинандыч, но он, понимаешь, чуть не единственный в Москве знал бенгальский язык, потому как родом был из КГБ и говорил, что наладит торговлю с кем хошь, а с ихней Народной Республикой Бангладеш – как два пальца. То была птица высокого полёта. Какие дела проворачивал! У него пять фуры выехало – и пять фуры не приехало.

Во, смотри, фотка: мы с ним на Ленинских горах с пивом. Там пивнуха была классная на углу. Главное, он знал Махмуда Эсамбаева – помнишь, я тебе рассказывал: танцующий горец? А старик Эсамбаев познакомил его со смотрящими от Иосифа Давыдовича, откуда к нам и пришла крыша: Савва Джумаев... А потом, когда рухнуло всё, потому как в котельной лопнули батареи, и огромная партия майонеза, три фуры, оказалась прокисшей, тогда всё и пошло пухом и прахом по окрестным городам и сёлам. Тогда Алик-то мой, Бангладеш, съездил в Грозный к Савве, и тот ему конкретно сказал: «У меня денег нет», – и посоветовал пойти к Иосифу Давыдовичу. Ну, сам-то Бангладеш пойти не рискнул, но через посредничка рухнул в ноги. Ни Алик, ни я лица Иосифа Давыдовича не видели, но посредничок ходил-сновал, и тот вроде передал: «Ты коммерсант, ты и думай, где деньги взять». Типа знать не знаю, ведать не ведаю. Сумма-то была охеренная. Мы даже хотели квартиру продавать. Но выкрутились: потом я фанеркой, лесом подторговывал. Я даже ценные бумаги продавал. В общем, выполз из майонезного дурмана пришибленный, но живой... Удалось ещё спасти партию шпротного паштета, целую машину. Ну, я затащил эту партию в квартиру к другу с женой – где-то же надо было всё это сгрузить. Жрите, говорю, сколько хотите, продавайте, дарите на Пасху, на Рождество, на Женский день... Хотя – ну сколько можно сожрать шпротного паштета? Тем боле там иногда попадались глаза... Эх, какую книгу можно было бы написать! Бравый солдат Швейк отдыхает. Но когда я ручку беру, мысли останавливаются. Вот спроси у Нины, есть ли у них сейчас в продаже «Доктор Коккер»? – специи молотые из Израиля. Я о чём, сейчас объясню:

вот, подогнал мне Бангладеш два вагона риса, чтобы я продал дешевле всех на десять процентов. Это револьверная поставка. Дают фуру в день, надо перефасовать, развести по базам и магазинам. Тут у меня почему-то и всплывает бравый солдат Швейк, хотя я книжку не читал. А что у него было там с револьверными поставками? Ничего не было?.. О! Понял, почему Швейк всё время всплывает: у его командира был большой револьвер – вот в чём суть!

– Что-то у меня башка разболелась, – сказал Аристарх Надежде. – Пойду наверх, пожалуй...

– Стой, стой! – крикнула она, блестя глазами. – Изюм, ну что за херню ты понёс про Кобзона, про Швейка, кому это интересно! В жопу твой майонезный цех. Ты лучше про армию, как золото намывал целыми днями и как тебя прапор, сука, грабанул. Ну-к, покажи ту доблестную статейку в газете, где вы сняты с ним в момент, когда он тебе только-только морду начистил, и вдруг к вам привезли корреспондента местной газеты, и вы оба застыли-вытянулись, а фотограф вас щёлкнул с этими обалдевшими харями... Ну, где эта газета, что за бестолковщина! Давай армейский архив. Ты вообразить не в состоянии эту парочку на фотке! – заверила она Аристарха. – Сейчас сдохнешь от хохота.

– Он не только меня ограбил, – заметил Изюм беззлобно, – он спиздил бункерный ксерокс. Ты знаешь, что такое бункерный ксерокс, Петровна? Он размером с твою веранду, и печатает тыщу плакатов в минуту. Кому нужно печатать «Родина-мать зовёт» с такой скоростью?

Газета «Пограничник Азербайджана», сложенная вчетверо, пожелтевшая и уже махристая на сгибах, довольно быстро нашлась в серой папке, на которой рукой Изюма чёрным фломастером печатными буквами было начертано: «МолАдАсть».

– Вот, – с застарелой горечью произнёс Изюм, разворачивая статью во всю ширину листа. – Я тут, конечно, поименован не полностью, только инициалами – газетчик сказал, что такого мужского имени – Изюм Алмазович – не встречается в природе и что его военная цензура не пропустит. А прапор – ему что, таких имен, как у него, – мильён в каждой подворотне. Вот, пожалуйста, с полным уважением: Павел Викторович Матвеев. Мордovorот – стрёмно глядеть!

Изюм, усмехаясь, поднял глаза на Сашку и осёкся: тот стоял побелевший; такой белый, что на фоне стены его лицо казалось махом покрашенным кистью того же маляра. Он слегка попятился, будто хотел вырваться из чего-то душно зловонного, – даже Надежда отступила на шаг, пропуская его, – развернулся и молча взбежал по лестнице наверх.

– Эт что с ним такое? – спросил Изюм. Она быстро проговорила:

– Живот прихватило. Бывает. Ничего.

Внезапная помертвелая бледность Аристарха напугала её страшно. И напугала, и озадачила. Изюма надо было немедленно выпроваживать, а ему пока не укажешь на дверь прямым указательным пальцем, он никакого намёка не поймёт, деликатности не оценит, всегда лаптем за порог зацепится, договаривая свои неосуществлённые ноу-хаю.

– Видала, – сказал, мотнув головой в сторону лестницы, – какое впечатление на людей производит моя судьбина?

– Изю-ум... – тихо и значительно проговорила Надежда.

– Понял! – отозвался он заговорщицки. – Пора линять! – и на сей раз довольно быстро прибрал своё архивное хозяйство. Удалился без обычных комментариев, если не считать некоего странного замечания на пороге:

– Сегодня день, я заметил, не располагает к работать. Располагает к выпить. Ну, если не к выпить, то просто – к не работать. Так что ты *его*, – и голосом присел и глаза так значительно поднял к потолку, – не слишком к Альбертику гони...

Дверь в спальню была прикрыта, и Надежда подумала, что найдёт Аристарха лежащим на кровати, раскисшим, чем-то расстроенным. Станет выяснять – что стряслось, где болит... Вот уж она возьмётся за него по-серьёзному, прогонит сквозь строй самых дорогих врачей. Первым делом – анализы по полной шкале. Тоже мне, медик – а у самого-то, сам-то...

Нет, он стоял, отвернувшись к окну, будто продолжал любоваться крышами, серебристой полоской пруда за деревьями, альпийской горкой на ухоженном участке Надежды и безмятежными облаками, какие плывут над русской деревней исключительно в прозрачном июле. Будто, услышав её шаги, сейчас обернётся, облапит её...

Она подошла, обняла его за шею, прижалась виском к плечу.

– Видал, – сказала, – какие у меня рябины? Были прутики-дохляки, а сейчас красавицы. Через месяц развесят грозди, совсем как у нас...

Он молчал, и спина была каменной.

– Так что же, – тихо спросила она, – теперь вроде твоя очередь рассказывать?

– Не начинай... – попросил он сдавленным голосом. – Не разбивай наш первый день.

Внизу живота у неё стало пусто и холодно, как в последние минуты перед разбегом, перед тем как взлететь над обрывом.

– А что, такое страшное, что и не вымолвить? – спросила. – И думаешь, я буду ждать-гадать, что там – вилами по воде? Давай, парень, растолкуй мне: чего тебя сюда занесло, что за прихоть врача – в бригаде ханыг полы настилать? И что это тебя так пробило, когда Изюм ту фотку армейскую, с прапором... Тебе что там привиделось?

– ...Как грохнул я его – привиделось, – отозвался Аристарх. – Того бывшего прапора, Пашку-брательника. Как он лежал на земле, а брюхо ещё трепыхалось.

Обернулся к ней – мальчишка в рябиновом клине, – и всё закружилось и вспыхнуло в багряных брызгах тяжёлых гроздей. Она протянула руку, раскрыла кулак с вертлявой змейкой внутри, крикнула, хохотнув:

– Зырь! – и уже не могла отвести взгляда от этих синих-синих-синих глаз, что смотрели на неё со взрослой беззащитной верой, с какой отдавал он ей наперёд всю свою жизнь, чтобы она приняла эту жизнь и спасла её.

Он шевельнул губами:

– Я убийца, Надя! – проговорил глухо. – Я в розыске. И недолго нам осталось.

Глава 2

Ремесло окаянное

Первое оглушительное впечатление от новой страны: удар в грудь горячего, как из открытой печи, воздуха; жёсткий, как сварочная дуга, солнечный свет в глаза; тёмно-фиолетовые лезвия теней под белыми, до боли, стенами зданий и слепящая гармоника приоткрытых жалюзи на окнах. А ещё – вездесущий запах апельсинов.

Лёвка с Эдочкой осели в неприглядном Лоде, в двух шагах от аэропорта, окружённого плантациями цитрусовых. Снимали однокомнатный флигель с верандой во дворе у Нахума, водителя автобусной компании «Эгед». Бритоголовый бугай с бычьей шеей, Нахум был похож на чечена или какого-нибудь кабардинца, хотя фамилию носил Коэн. Когда его жена готовила *марак-кубэ*, странную похлёбку с плавающим внутри жареным пирожком, Нахум заносил кастрюльку жильцам; входил не стучась, руки были заняты, просто распахивал дверь ногой. Суп был острейшим и вкуснейшим. Нахум громко и отрывисто говорил пару фраз на невозможном языке; Лёвка почему-то его понимал, смеялся в ответ и хлопал Нахума по могучему плечу, для чего поднимался на цыпочки.

– Говорит: «Мужчина может голодать, а женщина должна кормить ребёнка во чреве своём».

Тут явно имелась в виду Эдочка, в то время уже беременная первой девчонкой.

– Так и сказал: «во чреве своём»?

– Ну да. Это ихний басурманский язык такой.

Над халупой, как и над всей округой, со свистом распиливали небо неугомонные самолёты. Этот грохот и запах апельсинов составляли густой фон здешнего бытия, такой вот пряный *марак-кубэ*. Местные жители ни того, ни другого не замечали.

В первые недели, непроизвольно втягивая голову в плечи всякий раз, когда над его макушкой взлетал или шёл на посадку самолёт, Аристарх думал: как вообще здесь можно жить? Он и на уроках иврита спрашивал себя: как в обыденной жизни можно объясняться на языке, в котором «кит» – это «левиафан», а простенькое: «мне нравится» выражается фразой: «это находит милость в глазах моих»?

С годами оказалось: можно. Можно и жить, можно и говорить, и довольно быстро, запальчиво, с грубоватым юмором говорить, употребляя слова, которым на курсах тебя не учили. Можно орать, цедить через губу, в крайнем случае материться – если имеешь дело с упёртым бараном и у тебя просто не осталось аргументов.

Первые два месяца, самое трудное время, жил он у Лёвки с Эдочкой. Спал на веранде, больше негде было, да и не хотел стеснять молодых. Осень в том году выдалась непривычно жаркая, и бездонные ночи, сбрызнутые сиянием ярких созвездий, присыпанные красными огоньками идущих на посадку и взлетающих самолётов (которых через месяц он почти не замечал), приносили грустное утешение.

Лёвка готовился к экзамену и вкалывал как безумный, помимо санитарства в больнице прихватывая дежурства в доме престарелых. Спал часа по три и, столкнувшись со Стахом ночью в коридоре, по пути в туалет, пугал его красными, как у вурдалака, глазами. Со смехом рассказывал: полез вчера под кровать вытаскивать обронённые старичком очки и обратно не вылез, там и сомлел.

– А старичок? – ахала Эдочка.

– Старичок забыл и про меня, и про очки. Их Альцгеймер – моё отдохновение. А что: урвал полчаса, спал в мягкой пыли, как младенец в утробе. Когда хватились меня, старичку

задницу мыть, – я и вылез на зов из-под кровати, с очками. «Ревизор», немая сцена. Стыдно, но старичок так обрадовался, что подарил мне пятьдесят шекелей. За такие чаевые я брюхом вытру пыль на всех этажах нашего заведения.

Для начала Лёвка, друг сердечный, пристроил его к тем же старичкам, в ту же обитель благодного забытья. Опыт хороший: Аристарх научился там ворочать неподвижных пациентов, переносить их с кровати на кресло, грамотно распределять вес человеческого тела на руки, на спину, на ноги. Научился делать массаж, быстро и опрятно мыть мятые старицкие ягодицы. При этом часто вспоминал дядю Петю. Эх, думал, вот бы тому такое кресло. Не говоря уж о лекарствах, не говоря уж о памперсах – благороднейшем изобретении человечества!

Когда, протаранив, пробуравив пещеристый известняковый язык, незаметно для себя выскочил на простор складных шуточек и не задумчивых ответов, когда в шершавом ветвистом клёкоте, к себе обращённом, стал различать сочувствие, презрение, добродушие и даже ласку – он стал открывать для себя и лица вокруг. Каждое утро, сбежав к почтовым ящикам, приносил почту заодно и соседу, безному инвалиду ЦАХАЛа, неистощимому балагуру: «Да знал я, знал, что там заминировано, просто хотел успеть до пятницы в увольнительную». Всегда застревал на кассе в соседней лавке, покалякать с курчавой, как негрятка, продавщицей-марокканкой: «Я тебе про своё детство в палаточном лагере расскажу, ты заплачешь горькими слезами!» На чём свет она костерила «русских»: «Явились к нам на всё готовое!» – но в трудную минуту могла отпустить в долг под честное слово пачку сигарет.

Люди вокруг стали обрастать своей трудной жизнью, потерями, анекдотами и грубовато-непрощенной задушевностью, а улицы обрастали знакомыми адресами, дешёвыми лавками, прачечной, пока ненужной ему «Оптикой» и очень нужной фалафельной на углу, где за два шекеля можно перехватить питу между дежурствами.

Он снял недорогую квартиру в старом районе Лода, в двухэтажном, вусмерть зажитом доме, вызывающем о сносе. Две безлюбые клетушки размером с катафалк, наспех побелённые съехавшими жильцами, даже не притворялись уютными, – так старой шлюхе-алкоголичке уже плевать на дырку в чулке и пятно на блузке. Пятиметровая кухня шамкала висящими дверцами раздолбанных шкафов и воняла застарелой накипью сбежавшего молока на ржавой газовой плите. Душевая, явно встроенная позже, гремела твёрдой клеёночатою занавеской шестидесятих годов. Унитаз, разумеется, присутствовал, но так стыдливо и кособоко приставленный к стене, что важнейшие минуты утреннего туалета можно было засчитать за упражнения на растяжку мышц. Эта берлога лелеяла ночные кошмары длинной череды неприкаянных безденежных жильцов, да и сам он, просыпаясь на надувном матрасе, брошенном под стену в пустой комнате, частенько спрашивал себя: «Что я тут делаю?»

Но депрессивное логово таило сюрприз, волшебное зёрнышко граната: узкий, как пенал первоклашки, балкон выходил в густые кроны четырёх невероятно разросшихся фикусовых богатырей, и в перелётные месяцы на твёрдые лопасти их красноватых листьев прилетала семья зелёных до оторопи, нежно-изумрудных, переливчатых попугаев, картаво скандальных, скороговорчатых акробатов... Никого не боялись; когда Аристарх выходил на балкон – развесить на единственной протянутой проволоке выстиранное вручную бельё, – прыгали на перила, радостно вопя, и казалось, в чём-то его убеждали, что-то доказывали: может, бросить всё к чёртовой матери и улететь с ними на Азорские острова?

* * *

Какое-то время он работал подменным врачом – если, бывало, штатный доктор заболел или в отпуск ушёл; если на резервистскую службу врача призвали или, скажем, пришло время ей рожать.

Иногда подменял врачей в поликлинике бедуинского городка Рахат. Тогда его смена совпадала с часами работы доктора Ибрагима.

Отпрыск богатой арабской семьи из Умм-эль-Фахма, тот был исполнен плавной важности, и при общем худощавом сложении слегка топырил холёное брюшко. Всегда благоухал дорогой туалетной водой, носил редкие по тем временам очки-хамелеоны и с подчёркнутым осуждением поглядывал на старые, ещё питерские джинсы доктора Бугрова. Впрочем, был умён и, бывало, удачно шутил: раза три на его замечания доктор Бугров одобрительно хохотал.

Однажды – дело было в конце марта, на склоне дня, – одновременно выглянув из своих кабинетов, они обнаружили, что оказались в пустой поликлинике вдвоём, если не считать старенького Меира в регистратуре. Редкий случай – ни одного пациента! Блаженные минут пять, десять...

«Попьём чаю?» – предложил Аристарх. Он всюду, в любом, даже временном, пристанище первым делом обустраивался со своим «чайным домиком» (наследие незабвенного Мусы Алиевича Бакшеева: всегда иметь при себе заварочную ёмкость, пару чашек и хороший «нормальный чёрный» чай).

Устроились на террасе; она выходила в покатые, медленные, как волны, травянистые холмы, сбрызнутые крапинами пылающих маков. Такой благодати весной выпадало недели три от силы, потом наваливалась жара, трава выгорала, небо казалось усталым и изнывающим от зноя.

Меира тоже позвали к чаю, но, человек старой закалки, тот считал, что в казённом медицинском учреждении оставлять без присмотра регистратуру нехорошо. Меир был человеком дисциплины, про себя говорил: «Я самолёты на себе держал, у меня ни один не разбился!» – всю жизнь он проработал диспетчером в аэропорту. Выйдя на пенсию, отыскал дело для души – трижды в неделю торчал в поликлинике, страшно надоедая пациентам. Он следил за порядком, строил больных, запуская их в кабинеты, и, кажется, в старой своей голове слегка уже путал людей с самолётами.

Аристарх привык, что такие вот старички-добровольцы приносят ежедневную и весьма ощутимую пользу во многих больницах, поликлиниках, библиотеках и клубах. Сначала думал, что это одинокие вдовцы-вдовицы, которым некуда себя деть от пустоты и скуки, но однажды обнаружил, что старушка, выкликающая из очереди больного, в прошлом была замминистра юстиции, что она – мать пятерых детей и бабушка двенадцати внуков. Просто здесь это было *принято*. А что дома делать, удивлённо ответила ему однажды такая вот старушка, тихо помирать?

– Ну, как чай?

– Я люблю кофе... – уклончиво заметил доктор Ибрагим. Ногти у него были изящные, продолговатые и, кажется, отполированные. Наверное, больным приятно, когда врач прикасается к ним такими ухоженными мягкими руками. – Это русский чай?

– Индийский. У меня тут и китайский есть. Заварить?

– Не надо, – торопливо отозвался тот.

Косые тени скатывались по склону вниз с кошачьей негой, трава отзывалась на легчайшее дуновение ветерка, а небо отсвечивало уже летней лавандовой синевой, от которой глаз не отвести, сидя в послеполуденной тени. Аристарх вытянул ноги, заложил руки за голову, откинулся на стуле и глубоко вдохнул воздух, свежий после вчерашнего дождя. Пробормотал:

– Тишина какая, простор... маки... Хорошо-то как. Правда хорошо, Ибрагим?

– Хорошо, – согласился тот. – Но, когда вас тут не было, ещё лучше было.

Доктор Бугров выпрямился на стуле, подобрал ноги, локти упёр в подлокотники. Не ожидал выпада; во всяком случае, не сейчас, не в этой благодати, не с чашкой душистого чая в руке. Хотя он уже разбирался в здешнем раскладе отношений, при подобном обороте беседы

уже не уточнял оторопело «кого это – нас?», а научился быстро и жёстко отбивать ракеткой мяч; у него, как у хорошего спортсмена, были и свои приёмы, не всегда дозволенные.

Вообще, в подобных словесных баталиях доктор Бугров бывал прямолинеен и груб. Говорил то, что думал, а думал порой вразрез с «общепринятыми культурными кодами лучшей, либеральной части общества». Эти самые «коды» он в гробу видал и любил вынести академическую дискуссию на простор дворовой драки.

– И что тогда было у вас хорошего? – полюбопытствовал он, пока ещё с приветливым интересом. – Ваша поголовная неграмотность? Засухи, малярия, нищета? Голые скалы-пески-болота?

– Это взгляд пришлого человека, который судит всё и всех на свой высокомерный лад.

– Хорошо, – кротко отозвался Аристарх, – возможно, ты прав. Чужой уклад – потёмки. Может, твоей бабке даже нравилось, что из восемнадцати детей у неё выжидали трое.

Он видел, как презрительно тонко улыбается в усики его собеседник, и понимал, чем тот манипулирует. Доктор Ибрагим привык иметь дело с представителями местного истеблишмента, а те с головы до ног были задрапированы в тогу «либеральных ценностей» и при первой же сигнальной ракете, как полковая лошадь при звуке трубы, принимались покаянно извиняться за своих дедушек-бабушек, слабогрудых мелитопольских и одесских гимназистов, которые, лет сто назад, в поту и в собственном дерьме, в липкой невыносимой жаре, посмели осушать здесь малярийные болота и сажать деревья и виноградники (впрочем, и постреливая при надобности; а надобность возникала частенько).

– Значит, так было нужно природе, – продолжал доктор Ибрагим с назидательной усмешкой. Маникюр он всё-таки прятал, опустив руки на колени. Чай его остывал в чашке: видимо, человек действительно любит кофе. – Природа мудра, и мой народ из века в век жил по её законам, – продолжал он. – Что хорошего в том, что сейчас сохраняют жизнь всем убогим, носителям бракованных генов? Это всё ваша хлипкая мораль. Моя бабушка была готова к тому, что не всех детей ей оставит Всевышний. А мой дед...

– А твой дед, – подхватил Аристарх с той же приветливой лаской в голосе, – если не мог купить себе жену, просто трахал ишака.

Доктор Ибрагим завизжал и бросился на коллегу через стол, опрокидывая горячий чайник, чашки, сахарницу...

Они выкатились в коридор, расшибая друг друга о стены, наваливаясь и лягая один другого. Каждый помнил, что разбитая физиономия может иметь неприятные, далеко идущие судебные последствия.

Перед дверьми их кабинетов, вскочив со стульев, жались по углам два пациента, а ошалевший старенький Меир метался вокруг, не зная, с какой стороны подступить к драке; это было труднее, чем выпускать самолёты на взлётную полосу. Перебегая от стенки к стенке, он всплёскивал руками и растерянно кричал:

– Доктора! Доктора! Позор! Позор!

* * *

Упитанный голый человек отплясывал жигу на внутреннем тюремном дворе. Руки и ноги его развинченно болтались, он воздевал кулаки, как грозящий небу пророк, приседал и подскакивал. Залитый светом фонаря бетонированный двор, как и тело голого плясуна, казался рябым из-за железной сетки-рабицы, натянутой поверху.

– Это кто? – спросил Аристарх, подходя к окну. Нет, не сон... Хотя минуту назад он ещё спал на узкой и высокой смотровой кушетке в своём кабинете. Едва заступив на должность тюремного врача, угодил в самую неприятную катавасию: массовую голодовку заключённых.

Третьи сутки голодали террористы ХАМАСа, так что весь персонал, тем более медицинский, не покидал территории тюрьмы. – Кто это?

– Стоматолог финский, – отозвался фельдшер Боря Трусков. – Я его по заднице узнаю. Задница мясистая, как у бабы.

– Откуда здесь финский стоматолог, почему голым бегаёт? – буркнул доктор Бугров, массируя лицо, чтобы проснуться. – Он заключённый? Где охрана?

– Та нет, – нетерпеливо отмахнулся Боря. – Он стоматолог. Финский – это фамилия. Просто наш стоматолог.

– Не понял, – пробормотал Аристарх, следя за пируэтами голого.

Тот совершал наклоны и бег на месте, отрясал кисти рук, широко разводил колени в присядке, будто гопак отплясывал, и потряхивал тем, что поневоле потряхивается, когда ты пренебрегаешь трусами.

– Он мудака?

– Он мудака, – подтвердил Боря, – но не так, как ты понял. Он просто полотенец не любит, говорит, на них всегда остаются бактерии. После душа вот так выбегает – на просушку.

– Ясно, – вздохнул Аристарх, обозревая тюремный двор, при лунном освещении ещё более дикий, чем днём.

– Ничего тебе не ясно, док, и ты даже приблизительно не представляешь, что это за мудака. Возьмём случай на недавнем корпоративе. Это в загородной промзоне, где несколько банкетных залов под одной крышей. «Жасмин» называется. У нас как: набьётся охрана за столы, а поликлиника всегда последняя, всегда затёрта. Вот ты увидишь. Сидим на задворках зала, пока начальство втирает нам про достижения и успехи. Мы ж не успеваем места занять: пока здесь приберёшь после рабочего дня, пока домой смотаешься приодеться... А Финский далеко живёт, в Иерусалиме, ему туда-сюда колесить не с руки. Мы и говорим: доктор Финский, ты нагрязь заходя, займи нам целый стол: на один стул ботинки поставь, на другой – портфель, на третий пиджак навесь... В общем, охрану близко не подпускай! Приходим, всё как обычно: зал – битком, места все заняты, народ уже на жратву налегает, одни мы, как сироты, в дверях торчим. Звоним: доктор Финский, ты где?! Где стол занял, не видим тебя? Он орет: «Идиоты, куда вы запропастились, я тут сижу, и мне скоро морду будут бить!» Как думаешь, где он сидел? В соседнем зале, где играли грузинскую свадьбу. Весь стол занял, как ему велели: на одном стуле – ботинки, на другом – пиджак, на третьем портфель, на четвёртом – не помню, трусы. Никого не подпускает, и огромные носатые грузины уже нависают над ним, примериваясь, с какого боку его херачить...

Доктор Бугров, новый сотрудник службы Шабас, штатный врач тюрьмы «Маханэ Нимрод»¹, смотрел, как в лунном рябеньком свете на тюремном дворе сучит ляжками голый стоматолог Финский, и, как частенько с ним бывало, старался различить в недавнем прошлом тот первый завиток безумия, из которого вырастало развесистое чудо-дерево его здешней жизни.

* * *

После драки в Рахате и дисциплинарного скандала несколько месяцев он работал врачом на военной базе «Эльоним»².

В начале девяностых на страну рухнули двенадцать тысяч советских врачей, для которых в здешних клиниках рабочих мест не приготовили.

Увенчанные славой советские хирурги вкалывали в ординатуре, получая за это гроши, но всё равно радуясь, что работают по профессии, а не осматривают рюкзаки и дамские сумочки

¹ Стан Нимрода.

² «Высоты».

на входе в супермаркет. Так что непыльную работёнку на военной базе можно было считать синекурой.

Здесь проходили платный курс начальной боевой подготовки сынки богатых родителей со всего мира; три недели этой потной романтики приносили государству Израиль весьма недурную прибыль.

Записывались на лютую солдатскую муштру с разными целями: либо оболтус рвался хлебнуть настоящей мужской жизни; либо отчаявшиеся родители привозили шалопая, чтобы тому «вправили мозги»; но чаще всего юные энтузиасты приезжали «поддержать Израиль... и вообще!» – чтобы, лет через десять на адвокатской *пати* вокруг бассейна, в богатом пригороде Сан-Франциско, небрежно обронить перед тамошними тёлками: «...Это было в тот год, когда я проходил курс молодого бойца в одной из лучших армий мира».

Занятное было местечко...

Командир военной базы, одышливый толстяк с застарелой астмой и апоплексическим румянцем, болел всеми болезнями, кроме родильной горячки. Рабочий день доктора Бугрова начинался и заканчивался в его кабинете измерением давления.

Зато замкомандира, гончий голенастый бедуин Али Абдалла Бадави (доктор Бугров, известный своим *шовинизмом*, именовал его «Али-об-стул-задом-бей»), свою воинственную жилку подчёркивал всюду, где только возможно, неукоснительно надевая парадный берет бойца спецназа даже перед вечерней молитвой.

Английского он не знал, а в святом языке особенно чтит и чаще всего использовал два понятия: «бен зонá»³ и «таханá мерказйт»⁴ – этого вполне хватало для общения с курсантами («Не подберешь сопли, сукин сын, живо отвезём тебя на станцию – и лети в свой Балтимор!»).

Справедливости ради, инструкторы гоняли этих привилегированных цуциков нещадно, без малейших сантиментов, сапогом в жопу. Боевая подготовка была настоящая, без поблажек и без балды: ребята сполна отрабатывали папашины вложения (стоил-то курс немало, кусков пять, причём не шкалей цитрусовых, а жёстких зелёных денег).

По окончании курса на торжественную церемонию приезжали довольные папы, заключали в объятия своих чад, возмужалых и облупленных под злым левантийским солнцем. Один такой миллионер из Хьюстона приехал в сомбреро – может, спутал наши палестины с Мексикой. Ходил по казармам, всюду нос восторженный совал, цеплялся полями сомбреро за дверные косяки, страшно был доволен таким вот классным «настоящим летним лагерем»: сын выглядел по-хорошему ободраным, жилистым и отчаянным.

На прощальном вечере тощее чадо, измордованное инструкторами, поднялось и («Вот же сукин сын!» – восхищённо заметил Али Абдалла) громко, во всеуслышание, объявило: никуда я, папа, не еду, остаюсь я, папа, в армии.

Подобное случалось, между прочим, не так уж и редко: было что-то цепляющее в грубоватой здешней жизни, в горластых простых людях, что покоряло сердца наследников упитанных американских состояний. Бывало и так, что они уезжали, но... возвращались спустя год, затосковав по воплям Али Абдаллы, по пинкам и оскорблениям безжалостных инструкторов.

Зато доктор Бугров, наблюдавший здешнюю сердечность сквозь вечный свой прищур, уже волком выл в полном отсутствии практики среди юной компании загорелых бугаёв.

Нежность давалась ему куда труднее и только в те дни, к сожалению редкие, когда он вырывался в Лёвкину семью, где росли три грибка, три дочки-погодки с местными именами: Шарон, Шайли, Яэль, с местными бойкими повадками, с привычным ожиданием подарков от «Стахи», – такую смешную кличку он у них носил, как нянька какая-нибудь или престарелая

³ Сукин сын (*иврит*).

⁴ Центральная станция (*иврит*).

домработница. Три девчонки с хрумким «р» на юрком кончике вертявого язычка, – как выбежали они к нему навстречу, сияя кудрявыми гривками!

Три смешные рыженькие пигалицы, – те самые, что должны были расти у него с Дылдой, да не случилось.

* * *

Работал в медпункте той военной базы фельдшер, Офир Кон его звали, – из бывших тюремных охранников. Он-то и присоветовал однажды...

Они сидели в *кантине*, цедили холодное пиво из банок.

Странно, думал Аристарх, что это итальяно-испанское словцо застряло именно в армейском сленге, и на любых военных базах подобные одноэтажные сараюшки при входе – нелепый симбиоз ларька с придорожной кофейней – назывались *кантинами*. Здесь стоял автомат с холодным пойлом, другой автомат, выстреливающий тебе в физиономию пакетиком с ржавыми чипсами; кофейная машина, три пластиковых стола со стульями и два дивана времён британского мандата с продранной обивкой. Июль, середина дня, старый кондиционер одышливо гонит переработанную жарь наружного воздуха, вот-вот окончательно сдохнет! – доктор Бугров жаловался на скуку и осточертелую ряху начбазы, трясущийся бицепс которого в манжете тонометра снится ему в ночных кошмарах. Офир отхлебнул пива и сказал:

– А не податься ли тебе в Шабас, Ари?

– Тюрьмы?! – уточнил тот и усмехнулся: – Вот только их в моей биографии ещё не было.

– А чего ты рожу кривишь, – отозвался Офир. – Служба безопасности тюрем – контора, между прочим, государственная: хорошая зарплата, приличная пенсия. Опять же: статус постоянного работника со всеми вытекающими социальными надбавками. Ну и форма, звание: ты – врач, начинаешь с майора.

Офир поднялся с продавленного дивана, выщелкнул из автомата ещё одну банку пива, поддел пальцем крышечку и прицелился ею в открытое мусорное ведро, бросил щелчком, попал! – и плюхнулся рядом с Аристархом:

– Ты что, дружище! Зря носом крутишь. Это, знаешь, особый мир, со своими законами, историей, своим эпосом... У нас там есть потомственные надзиратели: папа охранником был, дядя, даже дедушка. Мощные кланы! «Грузин» много. Они ещё в начале семидесятых попали в Шабас. Знаешь, как это получилось? Сидела лет пятьдесят назад компания «грузин» на *Тахане мерказит* в Ашдоде, пили кофе... Проезжала мимо полицейская машина, вышел из неё офицер в форме, подошёл и спрашивает: «Мужики, кто хочет служить в тюрьме – условия хорошие?» – «А что делать надо?» – спрашивают. «Да ничего, ключи на пальце вертеть. Сидеть, кофе пить. Если заключённый возбуждает – палкой его по башке». – «А, хорошо, это нам подходит». И вся компания поднялась и, как грачи, разом перелетели на новое место обитания.

Доктор Бугров расхохотался. Представил картину: хитрюгу-офицера, шумную компанию «грузин», своеобразный тбилисско-батумский клуб за колченогими пластиковыми столиками на автостанции. К тому времени он встречал немало грузинских евреев: люди были в основном торговые, незамысловатые, но симпатичные.

– К тому же там-то как раз не скучно, – добавил Офир многозначительно.

Был он человеком лукавым, шутил без малейшего намёка на улыбку; да у него и шрам был застарелый через обе губы, ещё со времен Первой Ливанской войны, не больно-то улыбнёшься. Но всей глубины этой лукавой многозначительности доктор Бугров тогда прочувствовать не мог. Прочувствовал позже. И в полной мере.

* * *

Фамилия начмеда, его непосредственного начальника, была Безбога. Михаэль, понимаешь ли, Безбога. Когда Аристарх взялся растолковать ему смысл этой фамилии, тот подмигнул и сказал:

– Да знаю, знаю. Неужто, думаешь, ваши поганцы – «русские» – не расписали мне всё про моего несчастного дедушку, бежавшего в Палестину от украинских погромов?

– А ты поменяй фамилию, – посоветовал Аристарх, глянув на кипу начальника. – Заделайся каким-нибудь... ну, не знаю: Михаэлем Набожным, к примеру.

– Ну, хватит бла-бла, – насупился тот. – Если кто тут без бога, так только ты.

– Это правда, – кротко отозвался подчинённый.

Михаэль, между прочим, был человеком интеллигентным и время от времени произносил какие-нибудь фразы по-русски, причём не бытового, а исторически-назидательного значения. Это было неожиданно и трогательно.

Это впечатляло... Так гид провинциального музея, затвердив суконный текст многолетней экскурсии, написанный лет тридцать назад его предшественником, вдруг приведёт ту или иную цитату из Толстого или Тургенева, и смысл этой фразы, прозрачность слога вдруг осветит залу старинной усадьбы, приоткрывая на миг красоту пожелтелой липы за окном, изящество деревянной резьбы наличников на окнах флигеля и неизвестно откуда взявшуюся рябую курицу на гравии дорожки запущенного усадебного парка...

Именно так, впервые показывая доктору Бугрову казематные просторы его нового бытования, Михаэль вдруг остановился и, подняв указательный палец, практически без акцента произнёс по-русски:

– Тюрьма – есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего истребованы люди твёрдые.

– Ух ты! – восхитился подчинённый. – Откуда выкопал? Чьи слова?

– Петра вашего Великого. Кажется, он и сам был «окаянный» и «твёрдый»?

– Как же ты это вызубрил?

– Так же, как мы с тобой зубрили латынь, – пожал плечами начальник и продолжил маршрут вдоль высокого, метров в пять-шесть, тюремного забора из типовых бетонных блоков, по верху которого вились рулоны колючей проволоки с милым названием «концертино»; *чубчик такой кучерявый*.

А над всей этой глухой безнадёгой плыли безмятежные голубоватые облака.

Тюрьма «Маханэ Нимрод» располагалась в старом каменном здании времен Османской империи, со всеми присущими той эпохе архитектурными приметами: мавританскими арками глубоких окон, высокими потолками, квадратными плитами розовато-жёлтого пола, благородно волнистого от тысяч подошв, полировавших его в течение столетий. Был бы ещё фонтан во дворе да сад с десятком-другим апельсиновых деревьев – и это величественное здание, при известных затратах на реставрацию, могло бы принять шумные стайки студентов какого-нибудь достойного вуза, а возможно, и стать резиденцией премьер-министра.

Но, как любил повторять тот же Михаэль Безбога, «нужно же где-то и эту шваль разместить». И потому здание подверглось кардинальной перестройке под нужды пенитенциарной системы страны, – впрочем, каменные полы в аркадах первого этажа не тронули, любые шаги порождали раскатисто-гулкое эхо, и казалось, вот сейчас из-за колонны выйдет гонец и с поклоном подаст султану письмо от наместника дальней провинции.

Тюрьма, любил повторять Михаэль, это место, где обитают живые покойники.

– Сами они этого не понимают. Их убогие радости дороже им, чем наши настоящие. Возьми доппитание, что полагается диабетикам... Один здоровенный хмырь нажрался у меня тут халвы до одурения, чтобы сахар поднять.

– Зачем?

– Как зачем: диету диабетика заработать, творожок трижды в неделю получать. Только не в творожке дело, а в статусе. Ему теперь положено! По-ло-же-но! И за творожок этот он порвёт сокамерника на лоскуты. Или вот один больной СПИДом – как же он за статус боролся! Сначала бомбил письмами администрацию тюрьмы, потом принялся слать депеши в Верховный суд. Ты только вдумайся: у каждого выблядка есть право прямого обращения в Верховный суд! Горжусь своей страной... Его потом заключённые убили, – заметил Михаэль с той же меланхоличной интонацией, – свои же, больные спидом. Они считаются угнетённой прослойкой тюремного населения, спят отдельно, из них формируют спецотделения. И знаешь что? Как только их обособляют, они принимаются насиловать более слабых.

– Как?! А что же... охрана...

– А вот так: носок в рот, и поехал, – невозмутимо перебил Михаэль. – К каждому заключённому не приставишь надзирателя. В отделениях только по двое охранников.

Он вздохнул и повторил:

– Да, кокнули его. Колото-резаное. Видимо, достал их своим творожком... Тут, конечно, людей различать надо, – спохватившись, добавил Михаэль. – Есть нормальные ребята. Уголовники, но не опасные. Они работают. Вон там, видишь – жёлтый флигель? Наша фабрика-столлярка.

Там офисную мебель чинят, строгают для тюрьмы разные полочки-шкафчики. Человек пилит-шкурит, песенку свистит; а денежки капают. Отбыл срок – получи котлету. Красота! Но это, конечно, не с террористами. Тем в руки ничего давать нельзя, те и карандашом тебя так отделают, как солдату спецназа не снилось.

Михаэль порылся в кармане синих форменных брюк, достал оттуда бумажную салфетку, явно бывшую в употреблении, сложил пополам, вытер пот со лба и вновь убрал в карман. Они проходили мимо высокого плечистого парня, тот мыл из шланга чей-то серый «БМВ». Оглянулся, увидел Михаэля, почтительно кивнул, продолжая смывать пену с крыши автомобиля.

– Вот, Мадьяр. Удачный пример нашей работы. Мы его поощрили, он моет машину начальника тюрьмы, генерала Мизрахи. Весёлый, заводной такой парень. Вообще-то Мадьяр – убийца, срок большой, но ведёт себя хорошо, мы рассматриваем возможность дать ему отпуск.

– Отпуск?!

Начмед остановился, задумчиво оглядел своего нового сотрудника. Аристарх тоже остановился, жалея, что влез со своими непрошеными эмоциями в ознакомительную и очень познавательную для него речь Михаэля.

– Эй, доктор, – мягко окликнул начмед, – ты должен понять, что это – люди. Живые люди, со своими страданиями, привязанностями, жалобами на здоровье. Они преступники, так как *преступили* закон, но общество обязано... – Прервав себя на полуслове, Михаэль вздохнул, оглянулся на высокую ловкую фигуру со шлангом в руках. – В общем, держи на цепи своего внутреннего чербера, – проговорил утомлённо, – и ты притерпишься. Научишься фильтровать базар...

Они шли по гигантскому открытому пространству. «Интересно, – подумал Аристарх, – зачем здесь это Марсово поле при таком адском пекле?»

– А бывает, человек попадает в тюрьму совершенно случайно, – заметил Михаэль.

– То есть как? – удивился Аристарх. На замечания начмеда он реагировал почти машинально. Всё вокруг настолько отличалось от привычной жизни, от человеческих пространств, от людского обихода, что его заботило сейчас только выражение собственного лица, за этим он и следил.

– Ну, например. Работяга-экскаваторщик пришёл домой после тяжёлой смены. Там орёт телевизор: сын смотрит футбол. Работяга принял душ, подогрел себе в микроволновке еду, поел, открыл банку пива и выпил. И пришла ему охота поговорить с сыном. «Как дела в школе, сынок?» – «Нормально». – «А уроки задавали?..» Сын упёрся в телик, там мяч гоняют здоревенные бугаи, которых он обожествляет. Папа, с его брюхом и вечерним пивом, давно ему осточертел. «А почему ты уроки не делаешь, сын? Ну-к, показывай, что там тебе задали». – «Отстань, надоело!» – «Как это отстань?! Ты кому это... на кого это?!» – «Я тебе не подчинённый, что хочу, то и делаю, а сейчас футбол смотрю!» Слово за слово, сын хамит, папа разогревается – нервы-то не железные, дневная усталость, собачья жизнь, жена на работе, и непонятно, чем там и с кем занята. И хватает он пустую бутылку и в сердцах запускает в телевизор. Грохот, вопли, осколки вокруг... Сынок убегает в свою комнату, запирается там и вызывает полицию – наши детишки на это наточены, им ещё в детском садике объяснили, что их родители – преступники, пока не разоблачённые. Приезжают менты, застают рыдающего пацана, размазывающего сопли, разбитый телевизор и ошалелого папаню, от которого несёт спиртным. А далее по сюжету: папаню уводят в браслетах, затем следует суд, и дают мужику три года.

– Три года?! – поразился Аристарх, забыв про достойное выражение лица.

– А ты как думал? Картина же ясная: насилие в семье, скажешь – нет? Или вот: не любит невестка свёкра. Надоел до икоты, старый хрен, надсмотрщик чёртов: и юбку, видите ли, такую короткую замужня женщина надевать не должна, и лак на ногтях слишком яркий, кого это ты прельщать собралась... Ну и строчит озорница заяву в полицию, что свёкор проклятый её за задницу хватает и всячески к ней пристаёт. Тоже, замечу тебе, вещь вполне обиходная. И – пожалуйста, строгий папаша, к тюремной параше – за сексуальные домогательства.

Начмед остановился, достал из кармана свёрнутую вчетверо давешнюю салфетку, аккуратно вытер ею лоб, после чего сложил уже ввосьмеро, будто собрался вечно хранить собранную со лба праведника святую влагу, и водворил на место – в карман.

– Знаешь, что самое страшное в тюрьме? Пока ты смотришь на них как на ворьё и отребье, как на убийц и насильников, – их легко ненавидеть. Потом узнаёшь историю каждого: детство-болезни, того мать высрала и выбросила в мусорный контейнер, того отец насиловал с пяти лет, тому в интернате физрук глаз выбил, а тот один добирался пешком из Эфиопии и чуть не сдох в песках... И начинаешь ты вязнуть и барахтаться во всей этой чёртовой тине, и просыпаешься по ночам, и представляешь эти картины применительно к собственным детям, и начинаешь тихо молиться, потому что тебе страшно до поноса: ты же видишь изо дня в день, как легко выпорхнуть из-под крылышка своей благополучной судьбы и полететь камнем – прямо в адский котёл, под нашу милую гостеприимную крышу. И понимаешь: их можно убивать, пока ты не смотришь им в глаза.

Он опять остановился, не обращая внимания на обжигающее пекло, оглядел подчинённого, словно проверяя – дошёл ли тот до нужной кондиции отвращения и ужаса.

– Это я – о мелкой уголовной шушере, – уточнил Михаэль. – А есть ребята похлеще, резкие есть здесь ребята, опасные, с известной историей; этих не только в наручниках водят, но и к ремню на поясе эти наручники защёлкивают.

Он вновь поднял палец, и Аристарх решил, что услышит ещё одну цитату из русских классиков. Но Михаэль сказал:

– Разница между уголовниками и террористами огромная. Запомни это и будь всегда собран и внимателен. Террористы отлично организованы, это бойцы, причём хорошо обученные. А чему не научились на воле, то восполняет тюрьма. У каждого срока в среднем лет по двадцать пять. Тут всему научишься: и взрывному делу, и научному коммунизму. Кстати, головорезы ФАТХа содержатся отдельно от головорезов ХАМАСа, ибо ненавидят друг друга лютой ненавистью. А с нами они и в тюрьме воюют беспощадно, ежедневно...

– Каким образом?

– А вот кран не закручивают, свет не гасят... Плати, окаянный сионист. Как думаешь, сколько на каждого такого милягу отстёгивает наш налогоплательщик? Двадцать семь тыщ зелёных в год! В самих Штатах, между прочим, только двадцать две тыщи. Да: и по нашей с тобой части, по медицинской, допекают как могут: болезни придумывают, требуют дорогостоящих проверок, которых какая-нибудь тётя Фанни на воле месяцами ждёт. Ну ты сам увидишь.

– А нельзя ли их...

– Нельзя, – вздохнул начмед. – Есть такая графа отчётности: количество жалоб. И про-
веряет её не кто-нибудь, а Красный Крест, с которым ещё познакомишься.

Он перебил себя:

– Ну, вот. Наша вотчина.

Тюремная медсанчасть занимала дальнее крыло главного здания, расположенное так, что из окон коридора просматривалось то самое огромное Марсово поле – нечто вроде армейского плаца, только шагали по нему отнюдь не строевым шагом, – которое сейчас одолели Аристарх с начмедом. Из окон видно было, кого ведут или несут, если случалось очередное ЧП.

Звуки по каменной цитадели разносились далеко и раскатисто, и со временем Аристарх научился по длительности и интенсивности эха определять, как именно отделяют какого-нибудь заключённого: вышибают дух, лупят по башке дубинкой или раздают затрешины. Это музыкальное сопровождение усиливалось в те дни, когда по тюрьме прокатывался бунт, когда взывала сирена и открывались двери казематов, и охранникам выдавались каски, бронежилеты, дубинки... Когда в открытые окна медсанчасти докатывалось средневековое эхо ударов и воплей и становилось ясно: сейчас кого-нибудь приволокут.

И вот на плацу появлялась процессия: впереди офицер охраны, в вытянутой руке на отлёте у него – массивный прямоугольный предмет: мобильник, из тех первых, увесистых. Сзади двое охранников тащат носилки с заключённым, на лбу которого отпечатан синий след от удара тем самым мобильником.

«Здоровый, чёрт! – жаловался доктору офицер охраны. – С третьего раза только упал!»

Михаэль открыл дверь, посторонился, пропуская нового сотрудника, и Аристарх Бугров впервые переступил порог той «обители скорби», которая...

...которая на многие годы станет его долгом, работой, ночным прибежищем, местом странных и диких встреч, адской рутинной жизни, адской тяготой...

Но именно здесь, в муторные ночи обысков или голодовок, в минуты клочковатого сна на неудобной смотровой кушетке ему были дарованы самые яркие, самые живые видения: её девичья узкая кровать, скользящие по её плечам, по груди, по спине красно-синие отсветы от окошек террасы и огненный каскад волос, сквозь который он снова и снова прояснял любимую родинку на левой груди. И склонялся над ней, и медленно-томительно ощущивал губами крошечную, но такую реальную выпуклость этого зёрнышка, не отрывая взгляда от приоткрытых прерывистых губ, впивая любимый запах, задыхаясь... задыхаясь...

Он ступил в помещение, и его передёрнуло от застоявшейся плотной вони, от дикой какофонии звуков: выкриков и воплей заключённых, ора телевизора, лязганья стальных ворот.

Большую часть предбанника медсанчасти занимала камера за железными прутьями – просто клетка, три на три, с лавками, привинченными к полу. Стены расписаны арабской, ивритской и русской матерщиной и непременно «доктор – сука!» или «врачи – гестаповцы!».

Собственно, такой «обезьянник» для задержанных бомжей и прочих подозреваемых можно встретить в любом отделении полиции, в любой стране. Разноязыкий ор оглушал уже из-

за двери: в «обезьяннике» сидело человек пятнадцать. Вонь была сложносоставной: плохо стиранное в камере бельё, ввевшиеся в одежду запахи пищи, которую стряпали там же, на плитках; запахи пота, больных зубов, грязных ног... Непрошенный, всплыл из подвалов памяти незабываемый аромат портянок в цыганских бараках.

– Сколько их... – пробормотал Аристарх. – Это всё больные?

– Бывают и больные, – странно отозвался начмед. – Ты оглядишься. По закону каждый, кто жалуется на плохое самочувствие, должен быть осмотрен. Но не волнуйся, не все до тебя дойдут: сначала их осматривают фельдшера, а те – ребята бывалые, всякого навидались, их объегорить трудно.

– А почему все вопят?

– От возбуждения. Дурака валяют. Им же скучно в камере, а это хоть какое-то развлечение: встретиться, потолковать, обменяться новостями или наркотой...

– Но разве...

– Обыскивают-то их не ретиво, – обронил Михаэль.

Сквозь оглушающий рёв «больных» невозмутимый начмед провёл нового сотрудника по кабинетам, на ходу представляя его фельдшерам и врачам, показывая все закоулки и закутки помещения: кабинет нарколога, стоматолога... «аптечку» – тёмную комнату-кладовку, где хранились лекарства; кабинет самого начмеда.

– В конце коридора – видишь ширму? – я умудрился выгородить закуток с двумя кушетками, там фельдшера могут покемарить.

Аристарх уже не вдавался в детали и не стал уточнять, как можно «кемарить» посреди этого бардака. (Впоследствии выяснилось: можно. Сладко, отдохновенно можно покемарить, стоит лишь глаза прикрыть.)

Начмед завернул по коридору за угол и открыл дверь в ещё одну комнату, довольно тесную, зато с двумя окнами: одно смотрело на тот огромный плац, по которому шли передвижения всех тюремных обитателей, второе, небольшое, окошко выходило в закрытый тюремный двор для прогулок. Весёлое местечко, подумал Аристарх. Духоподъёмное.

– Ну вот, Ари... Твой кабинет. Не «Хилтон», а? Но кушетка, стол, кресло – приличные, полгода назад я выбил. И шкафчик вчера из столярки притащили, кособокий, зато свой, – понятно, кто делал его? Какой-нибудь проворовавшийся заммэра. Со столом только небольшая загвоздка: три болта тут потеряны, завтра я эту проблему решу, а пока осторожней с правой тумбой, не стоит на неё облакачиваться.

Начмед потоптался ещё пару мгновений, достал из кармана давешнюю салфетку и, аккуратно подобрав осьмушкой капли пота с седых висков, наконец выбросил комочек в мусорную корзину, – будто на протяжении всей долгой экскурсии по девятому кругу ада пронёс его с одной лишь целью: выбросить именно здесь.

– Короче, приступай к обязанностям. Удачи тебе в первый рабочий день!

Михаэль вышел, Аристарх остался стоять у стола, озирая отсек, где отныне должна проходить изрядная часть его жизни. Новенькая форма майора тюремной службы аж хрустела при малейшем движении, создавая не то чтобы приподнятое настроение – где уж тут, декорации подкачали, – но придавая некоторую собранность, сообщая некие, скажем, ожидания неординарных впечатлений.

Он снял форменную голубую рубашку, расправил её на «плечиках», повесил в шкаф; накинул белую медицинскую куртку и сел в кресло, вполне удобное. Покрутился... Крикнул в проём приоткрытой двери:

– Пожалуйста!

В предбаннике что-то лязгнуло, крики заключённых выплеснулись в коридор, зашаркали шаги...

В дверь протиснулась троица: два надзирателя – один из закрытого блока, второй Нехемия, охранник медсанчасти, – и фигура в оранжевой робе. Мужичок нестарый, невысокий, с угловатым щетинистым лицом, такого встретишь на улице – взгляд проскочит мимо. Вот только пружинистость во всём теле, беспокойство сразу обращали на себя внимание: он раскачивался с пятки на носок, не останавливаясь. Оба пожилых надзирателя (будничные лица, увесистые животы) подпирали его, как покосившийся забор. У обоих стражей на поясе висел «мастер», верига любого охранника: здоровенный, в ладонь величиной, ключ, отпирающий все камеры и все помещения внутри тюрьмы, похожий на те, какими запирали ворота средневековых городов. И у того, и у другого нателным крестиком висел на шее крошечный ключ от наручников.

– Какие жалобы? – спросил Аристарх, внимательно всех разглядывая. Картина была для него новой и, до известной степени, загадочной. Заключённый выглядел более живым и сообщительным, чем охрана, но в целом каждый из троих, при известном повороте событий, мог бы заменить другого на сюжетном поприще.

Новый доктор ещё не знал, что, когда заключённый входит, ему сразу предлагают сесть – сидячий он менее опасен. (Новый доктор, признаться, вообще не знал здешнего протокола. Михаэль Безбога, начмед, слишком быстро откланялся. По-хорошему, ему бы следовало провести с новичком первый рабочий день приёма неординарных, скажем мягко, пациентов.)

– Голова болит, – с тихим напором произнёс мужичок, раскачиваясь с носков на пятки и с пяток на носки. – Болит и болит. Нету больше терпения. Требую МРТ.

Аристарх молчал, не отрывая взгляда от всей троицы.

– Послушай... – наконец проговорил он дружелюбно. – Так не делается. Зачем сразу МРТ? К чему по воробьям из пушки палить. Для начала я измерю тебе давление и, если оно высокое, выпишу хорошие таблетки. Подождём, поглядим динамику... Садись, приятель. – Он кивнул на стул. – Снимите с него наручники, – велел надзирателям.

Те медлили, молча переглядываясь поверх головы своего подопечного.

– Я должен измерить ему давление, – нетерпеливо пояснил доктор.

Нехемия снял с шеи ключик и отомкнул наручники.

– Вот если таблетки тебе не помогут, тогда...

Он не договорил: заключённый прыгнул на него через всю комнату, – словно рыбку выкинули в пруд. Плюхнулся на стол, выбил столешницу и с грохотом рухнул на пол.

В воздух взметнулись бумаги, воспарили дымки застарелой пыли из потаённых щелей, куда годами не добиралась тряпка уборщика.

Начмед оказался прав: не стоило облакачиваться на правую тумбу стола.

Когда, через мгновение, охрана очнулась, заключённый лежал на полу в вихре летающих по комнате бумаг, а доктор сидел на нём верхом, заломив руки за спину. Бесценный опыт общения с алкашнёй на «скорой» не подвёл и на сей раз.

Тут и надзиратели запоздалыми стервятниками ринулись на акробата, вздёружили на ноги, защёлкнули браслеты. Тот отчаянным фальцетом верещал непроизносимую похабень на двух языках, трясся и дёргался, как припадочный.

– Здоров! – сказал доктор, поднимаясь и отряхивая брюки. – Приятно видеть такую физическую подготовку. Забирайте говнюка!

Покидая в тот день территорию тюрьмы, он замешкался в проходной, ощупывая карманы в поисках сигарет. Поодаль, за каменной колонной стояли два надзирателя, перекуривали; один из них – Нехемия.

– Видал нового доктора, русского? – донёсся до него приглушённый и уважительный голос. – Убийца!

* * *

Так оно и потянулось за ним: безжалостный доктор Бугров.

Уже недели через две все заключённые знали, что от доктора Бугрова ты получишь – *от мёртвого осла уши*. Возможно, этой лютой репутации способствовала история молодого и шустрого обитателя блока для особо опасных террористов.

Тот повадился на ежедневный утренний осмотр с жалобами на чесотку. Отрастил ногти, демонстративно раздирал себя ими в кровь. «Я чешусь!!! – орал благим матом. – Мне чешется, твою мать, долбанную в рот и в жопу!» Обещался порезать не только суку-доктора, но и всех фельдшеров, выл дурным голосом, требовал полного обследования и консультации профессора-дерматолога. Врач, которого сменил доктор Бугров, трижды посылал его в приёмный покой больницы, где тот, надо думать, с большой пользой провёл время: в местах повышенной плотности посетителей, в экстремальной ситуации высокого напряжения, как ни охраняй клиента, он рыбку свою непременно выловит. Поди знай, кто из «страждущих» сунет ему в руку или куда угодно очередную дозу.

Возили «чесоточного», как положено, в двух машинах с усиленной охраной, снятой с других отделений. Начальством подобный форс-мажор не приветствовался, но что делать? Парень не унимался. Строчил жалобы начмеду, писал в Красный Крест: «К мировой общественности! Помогите! Я чешусь, как брошенный шелудивый пёс, а мои тюремщики унижают меня и весь мой народ!»

Как и его предшественник, доктор Бугров ничего явного и опасного у пациента не находил, утверждал, что «эта сволочня развлекается».

Наконец он был вызван к начмеду, где получил нагоняй за упрямство.

– Отправь этого мерзавца в больницу, – велел Михаэль. – Его чесотка мне осточертела. Я скоро сам чесаться начну.

– Он явно и нагло симулирует.

– Это приказ! Иначе мы здесь не оберёмся дерьма от Красного Креста.

Вновь на двух машинах, под усиленной охраной, больного отконвоировали в столичную «Адассу». На сей раз юный склочник попал в лапы тамошних экспериментаторов: умельцы-фармацевты вручили ему особую мазь, которую сами же изобрели и готовили там, в больничной лаборатории. Строго-настрога велели намазываться трижды в день, с головы до пяток; заверили: «Очень действенная!»

Из окна своего кабинета доктор Бугров наблюдал триумфальное возвращение пациента. Из автозака вылезли надзиратели, затем выскочил бодрый «больной». Он потряс баночкой в сторону окон медсанчасти, победно выставив средний палец.

Ну-с, ладно...

Уже через день больного приволокли на носилках – воспалённого, с высокой температурой; кожа сползала с него клочьями, он весь был в коросте и в свежих язвах. И стонал самым натуральным образом.

Доктор долго его не принимал – видимо, сильно был занят; затем ушёл на обед – у нас ведь каждый человек имеет право на обед? Вернулся через полчаса и, минуя предбанник, как бы случайно заметил носилки с прокажённым. «Опаньки!» – сказал. Заинтересовался, подошёл... Осмотрел, не торопясь, того, багрового, будто ошпаренного. Поцокал языком, поохал, покачал головой. Сказал, что это – классическая аллергия на ту самую чудодейственную мазь коварных сионистов. Ничего не поделаешь: время лечит.

И, глядя в мутные глаза пациента, удовлетворённо произнёс:

– Вот теперь я вижу, что ты чешешься.

Михаэль Безбога, которого втайне забавлял «беспредел этого гестаповца», однажды, сидя за обедом в столовой для персонала, рассказывал, посмеиваясь: пациенты тюремной больницы написали жалобу на доктора Збарского – мол, никогда тот не улыбнётся, не повысит им настроения, не способствует изменению взгляда на мир. (Збарский, действительно, был немногословным, очень вежливым, но сумрачным человеком: у него в автокатастрофе погибла единственная дочь.)

– Я беседовал с вдохновителем жалобы этих аристократов духа, – рассказывал Михаэль, отделив кусочки баранины от кости. – Говорю ему: «Я понял. Согласен, неприятно видеть мрачное лицо. Я пришлю к вам другого врача, тот всё время улыбается. Доктор Бугров, может, слышали?»

И расхохотался, вспомнив картинку:

– Шарахнулся, будто я чёрта помянул. «Бугров?! Нет, – говорит, – только не он. Ничего, мы Збарского потерпим». Чем ты их так привечаешь, Ари?

Аристарх усмехнулся, хотел объяснить, что с детства имеет немалый опыт дворовых стычек и драк до крови, что в любом человеке сидит зверь, который чует в противнике другого зверя, и от того, насколько он силен... – но промолчал. Михаэль, признанный тюремный интеллектual, ел с таким удовольствием, так забавлялся своим рассказом, повторяя с улыбкой: «Странно! Ей-богу, странно!» Не хотелось портить ему аппетит.

Хотя лечил-то он хорошо; лечил, как должно лечить больных, не экономя на лекарствах, изучая сложные случаи всеми доступными способами. Но любил повторять, что тюремный врач, прежде всего, должен быть следователем, а врачом... – это уж что анализы покажут.

* * *

Для начальства он оказался удобным сотрудником: редко брал отпуск, без особых проблем соглашался на дежурства по выходным и не впадал в истерику, когда, в силу экстремальных обстоятельств, приходилось сутками жить в тюрьме, ночуя на кушетке или вовсе не смыкая глаз. Дома, в скудно обставленной квартирке, его не ждал никто, кроме семи зелёных попугаев, да и те – в сезон перелётов.

Но все свои отгулы он оговаривал заранее, и уж тогда отменить или перенести их было невозможно, ибо все знали: дело в каникулах. У доктора Бугрова, мужика одинокого (фельдшер Боря Трусков, скорый на клички, именовал его «бобылём» чуть ли не в глаза, и тот не обижался), – у одинокого доктора Бугрова были то ли племянницы, то ли дети друзей, то ли внучки соседей, – словом, три девочки, которых он называл «мои рыжухи», подарки покупал строго равноценные по весу-интересу (ревнивые девицы всегда сравнивали!) и в каникулы развлекал их на всю катушку, замучивая потом суровый персонал тюрьмы «Маханэ Нимрод» своими фотоотчётами, где три практически одинаковые девчонки, самые обычные, на посторонний взгляд, высывали языки, ставили доктору рожки и с аппетитом уписывали башни шоколадного, бананового и фруктового (каждой по её вкусу) мороженого. Ну что ж, молча переглядывались сослуживцы. Всякие бывают привязанности; тюрьма – дело такое, тут и рехнуться недолго.

А у них, у каждой, были свои, данные им клички: «Толстопуз», «Брови-домиком» и «Эй, отойди!». Как они ждали его появлений! Как торчали с утра на балконе, высматривая его натруженный, линиялый от солнца синий «пезжо», как грохотали вниз по лестнице, выпущенные мамой навстречу Стахе, и, вылетая в солнце, в утро, в дождь или ветерок, как запрыгивали на него, обхватывая ногами, визжа и колотя его кулачками по плечам!

Как-то они на нём умещались, особенно когда были совсем малышками: оба колена заняты, да на закорках – троглодит. Каждый праздник, каждые каникулы – два дня зарезервированы: он возил их по всей стране, благо любой дальний путь здесь подразумевал часа три, по каким-то ярмаркам, праздничным базарам, заповедникам-водопадам, интересным музеям... В багажнике машины подпрыгивал и тарахтел мангал, в сумке-холодильнике лежали замаринованные в кастрюльке куриные крылышки, кусочки индюшки, сосиски...

Они выбирали уютную опушку где-то в зоне отдыха, с деревянными столами и лавками, останавливались, укоренялись, ставили мангал... И, надев цветастый Эдочкин фартук, Стаха жарил сосиски и куриные крылышки, нарезал овощи, раскладывал одноразовые тарелки-ложки-вилки, разливал по картонным стаканам сладкое питьё... Потом садился и смотрел на них, подперев кулаком щеку, запоздало отзываясь на оклики и вопросы, – просто смотрел, как скользит солнце по рыжим косичкам и чёлкам, по их тощим плечикам в сарафанных лямках, как жуют их рты, оттопыриваются щёки, как блестят их глаза.

А вечером, по обратной дороге, усталый и липкий от сладостей народ всегда устраивал в машине славную потасовку. Стаха улаживал скандалы, рассказывал страшилки и смешилки, придумывал непрерывные конкурсы и шарады.

Наконец, в полном изнеможении, хрипатый от строгих окриков и углов, ставил диск: «Сейчас молчим и слушаем Брамса!» – «Пошёл он к чёрту!» – «Брам-са-Амбрам-са!» – «Дура!» – «Сама дура!» – «Ти-ха! У нас в машине только дружат! Ругатели идут пешком!» – «О! О! Стаха, это стих!»

И вот уже тремя лужёными глотками они орут из открытых окон автомобиля на всю долину Аялон: «У нас! в машине! только дружат! Ругатели! идут пешком!»

Ему было хорошо: две лапки в руках – третья держится за ремень джинсов; хорошо ему было, так он отдыхал.

«Бугров, – выговаривала Эдочка. – Ты вознамерился детей у меня украсть? Эт что за слоган они мне двигают насчёт ругателя, который идёт пешком? Роди себе своих и таскайся с ними по разным помойкам». «У меня родилка не работает», – отвечал он, на что Эдочка привычно бросала: «Ой, Бугров, не трюнди, что-то мне подсказывает, что очень даже работает».

Она и сама тяжело работала, посреди жизни переучиваясь из русского филолога в израильские фармацевты, так что якобы недовольство её было понарошным: когда Стаха по праздникам забирал на весь день честную компанию, Эдочка с Лёвкой отсыпались на всю катушку и усталых путешественников встречали вечером с примятыми от подушек, благодетными лицами: ай, славная компа! два шоколадных зайца плетутся по бокам, третья – спит на плече у Стахи.

* * *

Ежеутренне, в семь тридцать, толпа тюремной обслуги – надзиратели, начальство, повара и рабочие кухни, фельдшеры и врачи – валит через проходную. Каждому нужно отметить служебную карточку. Каждому, как верблюду сквозь игольное ушко, нужно просочиться сквозь металлоискатель и двух прапоров. И чтобы не зазвенело, народ торопливо вынимает из карманов и кладёт на поднос мобильники, зажигалки, ручки, очки; снимает ремни, часы и штиблеты с пряжками. Штаны падают, и если ты вовремя не проскальзываешь дальше, подбирая их на ходу, то получаешь ногой в жопу от тех, кто напирает сзади.

Оружие сдаёшь тем же двум прапорам, ибо на территории тюрьмы с пушкой ходить запрещено: всегда реальна опасность захвата оружия заключёнными. Его запирают в сейф, а ты получи номерок. Оружие посерьёзнее, чем пистолеты, хранится в закрытых казематах, – те

открываются в случае бунта, когда орёт сирена, надзиратели строятся, и каждому выдаётся по трудам его – шлемы, дубинки, автоматы.

Впрочем, бунт в тюрьме – жанр особый.

Рабочий день доктора Бугрова, как и любого поликлинического врача, начинался с утреннего приёма больных.

Подходя к воротам медсанчасти, он уже знал, что за ними увидит. В «обезьяннике» сидят человек двадцать заключённых. Несёт от них пёстрой вонью цыганского барака, смешанной с запахом дешёвой дезинфекции. При виде доктора они улюлюкают, отпускают матерные замечания и, как им кажется, шутят. Это – приветствия. Волна гудящей брани поднимается, выхлестывает за решётку, несётся по коридору до кабинета, куда доктор неспешно направляется.

В кабинете чаще всего уже сидит кто-то из фельдшеров, например, Боря Трусков. На его лисьей физиономии – всегдашняя готовность к служебным разборкам, а тонкие очочки в золотой оправе торчат в нагрудном кармане белой куртки. Когда он их надевает, то становится похож на врача гораздо больше, чем доктор Бугров.

Боря Трусков был невинным брачным аферистом. По сути дела, он вполне мог поменяться местами с каким-нибудь заключённым, но искренне удивился бы, обвини его кто-то в противоправных действиях.

В Израиль он приехал из Кривого Рога с женой, официально расписанной с ним в тамошнем ЗАГСе. Здесь Боря немедленно покинул свою беременную советскую жену, просто выйдя из дому в соседний супермаркет. Уже через два месяца он сочетался еврейским религиозным браком с девушкой-сиротой, которую замуж выдавал благодетель-дядя. Стоя под традиционным брачным пологом, он восклицал положенное жениховское: «Если забуду тебя, Ерусалим!» – и разбивал каблучком бокал на грядущее супружеское счастье...

Боре не пришло в голову предварительно развестись с предыдущей супругой, ибо, утверждал он, раввинам не начхать на советские бумажки!

Сирота оказалась благословенной Господом во чреве и за полтора года родила Боре одного за другим двух пацанов. Счастье было безоблачным и полным... но, уехав в отпуск всё в тот же Кривой Рог, он привёз оттуда привлекательную блондинку, правда, с одним стеклянным глазом. Блондинка дрогнула под напором Бориных ухаживаний, потому что с детства мечтала венчаться на Святой земле, в церкви Марии Магдалины. И Боря слово сдержал, неоднократно повторяя, что он – порядочный человек. Разводиться с предыдущей женой не озаботился, потому как понятно же: на хрена кому еврейские пляски под балдахином!

Время от времени его преследовали тати из раввина с требованием дать законной жене «гет», разводное письмо. Однако Боря вовсе не считал своих жён лишними в хозяйстве, мало ли, что человеку может в жизни пригодиться. Со всеми поддерживал отношения, а от татей скрывался за бетонными стенами тюрьмы «Маханэ Нимрод».

Он утверждал, что принадлежит к доисторической аристократии и что его фамилия прежде звучала как Этрусков, но в революцию буква «Э» была потеряна одним из горячих белогвардейских предков. Он во всеуслышание провозглашал себя «этрусским евреем», нисколько не смущаясь тем, что, судя по всему, является последним сохранившимся экземпляром данной этнической группы. Когда доктор Бугров пытался выразить сомнение в древних этнографических слоях окрестностей Кривого Рога, Боря запальчиво восклицал: «А айсоры?!» – «Что – айсоры?» – «Айсоры – потомки древней Ассирийской империи. Их полно в Виннице». – «А этрусков – полно в Кривом Роге», – спокойно резюмировал невозможный доктор Бугров, с этой своей улыбочкой.

Второй фельдшер, Адам, – полная противоположность Боре, и не только потому, что он отнюдь не этруск. Адам – друг, и это многое объясняет. Он выдержан, не треплив, умён и оборотист; он справедлив и в любой сложной ситуации инстинктивно ведёт себя самым достойным образом. Недаром Михаэль говорит: «Друзы – это израильские швейцарцы». Они, как правило, заточены на армейскую или полицейскую карьеры, ни черта не боятся, горячи и благородны. Словом, друзы – настоящие мужчины. В армии друз непременно – офицер-отличник. А в государственной тюремной службе...

Вот с тюремной службой у них единственная закавыка: они безжалостны к арабам. Впрочем, фельдшер – не надзиратель; он обязан ставить клизмы любому страждущему. И Адам их исправно ставит.

Когда Адам дежурит, у него нет ни минуты покоя, особенно по утрам: кому-то уколы, кому-то температуру мерить или капельницу ставить, кого-то порезали и надо шить... Всё это он делает быстро, молча, толково, не замечая матерных воплей и издевательских шуточек – в отличие от вспылчивого Бори, который то и дело выясняет отношения с доктором или ругается на пациентов.

Впрочем, с *этим* доктором не больно-то права покачаешь, так что и Боря начинает шевелиться. «Док, – говорит он, – похоже, я тут один и пашу. Шо б ты без меня делал, док!»

Есть ещё Арон – грузин, высоченная башня два метра пять сантиметров, с устрашающей бородой и усами людоеда из мультфильма «Кот в сапогах». Арон нетороплив, тяжеловесен и, на первый взгляд, туповат. Но работу свою делает отменно; просто он не любит, когда его заставляют суетиться, но уж если разгонится, то оказаться у него на пути или под рукой опасно – сметёт.

Сегодня с утра дежурит Арон, что весьма кстати, ибо минуту назад в медсанчасть доставили двух пострадавших в массовой драке: двух бедуинов из враждующих кланов. Отделаны оба на славу, так что весь кабинет потом придётся отмывать от крови. У одного, забитого, как свинья на бойне, висит наполовину откусанное ухо, у другого физиономия заплывла чудовищным кровоподтёком, левый глаз закрыт, правый истекает слезами. Обоих держат охранники, ибо даже тут, в тесной комнате, они рвутся продолжить смертоубийство. «Пусти, я его прикончу!» – ревет один. Другой визжит: «Он – труп, труп, ему не жить!» – и виснет на руках надзирателя, как боксёр на канате.

Арон невозмутимо настраивает поляроид – делать снимок, ибо к протоколу прикладывается фотография повреждений.

– Док, – говорит он вошедшему Аристарху. – Не знаю, как быть: остался последний кадр.

– Чёрт! Ну, попытайся как-то снять обоих одним кадром.

Под надрывные кличи врагов, рвущихся в драку, Арон так и сяк неторопливо прилаживается, пытаясь найти ракурс, при котором оба попадут в кадр. Ничего не выходит. И Арон теряет терпение.

– Встать рядом! – тихо произносит он.

В его глухом утробном голосе таится нечто неизбежное, как дальний рокот грома с грозового неба, и бедуины, дети пустыни, мгновенно это уловив, безропотно сдвигаются и застывают... Арон нависает над ними грозной башней, то откидываясь назад, то надвигаясь до ужаса близко.

– Не, не влезают...

– Постарайся.

– Ну-ка, обнимитесь! – внезапно говорит Арон, угрожающе шевельнув усами. И поскольку оба, оторопелые, медлят, гремит:

– Сдвиньте рожи в лепёшку!!!

Лютые враги, как по команде, припадают щеками один к другому: сладостное объятие, разве что мелодии танго недостаёт.

– Глаза на меня... Есть! – удовлетворённо говорит Арон, извлекая кадр.
Утренний приём продолжается.

Большинство заключённых рвалось сюда развлечься: в камере скучно, и любая смена впечатлений для них – театр, представление. Они и сами артисты, легко входят в роль и способны, говорит фельдшер Боря, «выкрутить мозг»: «...Когда я ступаю на правую ногу, у меня отдаёт в печень и в подколенку. Выпишите второй матрас, доктор!» или: «Всю ночь промучился – ужасная отрыжка! Я думаю, доктор, надо меня проверить на рак. Лучше сразу всего, с головы до ног...»

– На выход!

– Доктор, подождите! У меня ещё это... родинка на спине пульсирует и от икоты горло вывихнуто!

– На выход!

– Доктор, я ещё не всё рассказал!

– Завтра расскажешь...

Тюремный врач процентов на девяносто – следовательно, повторяет он своё коронное, и лишь на десять процентов – медик.

– Там этого привели... Йоси Гиля, – брезгливо докладывает Боря.

– А, который с яйцом? – оживляется доктор Бугров. – Прекрасно, прекрасно, подавайте сюда этого страдальца!

Насильник Йоси Гиль славится изумительным почерком. Ему не раз уже предлагали стать переписчиком святых книг, тех, что, как известно, пишутся, вернее, рисуются виртуозами-каллиграфами. Именно таким почерком Йоси пишет за всех заключённых жалобы в высшие инстанции, тем самым покупая себе сносную жизнь в камере. О себе же, о своей судьбе он слагает поэмы. «В продолжение моих предыдущих писем, уважаемые господа судьи Верховного суда, хочу добавить, что распоследний гад и насильник, вор и мерзавец, начальник нашей тюрьмы генерал Мизрахи не разрешил мне свидания с невестой в целях продолжения моего древнего и уважаемого рода...» – завитки, крылатые форшлагы, тончайшая вязь перемычек и мушиные лапки невесомых царских корон. («Невестой» всегда оказывалась очередная полногрудая шалава, подцепленная опытным Йоси Гилем на очередном омерзительном сайте «быстрых знакомств».)

«Когда этот сукин сын выйдет на волю, – любит повторять начальник тюрьмы генерал Мизрахи, – я все его вонючие жалобы оправаю в золотые рамки и открою в тюрьме музей каллиграфии».

Всю минувшую неделю, пока доктор Бугров находился в отпуске, больных принимала доктор Яблонская. На первый взгляд эта хрупкая, даже утончённая женщина совсем не подходила на должность тюремного врача. Однако за плечами Вики была служба в контрразведке и, по намёкам сослуживцев, участие в нескольких опасных операциях за пределами страны.

За эту неделю Йоси Гиль повалился в медсанчасть с одной неизменной жалобой: у него болит яйцо. Правое. Пощупайте, доктор. Как можно знать причину болезни, не пальпируя пациента?

Среди сотрудников Шабаса тюрьма «Маханэ Нимрод» славилась особо тяжёлым контингентом заключённых. Вернувшись из отпуска, доктор Бугров захотел Вику отблагодарить. Он пригласил её на ужин в «Самарканд»; это заведение на одной из промышленных улиц Яффо, из-за пластиковых столов и стульев, выглядело обычной дневной забегаловкой, однако владельцы, четверо братьев из Самарканда, готовили отменный плов и восхитительную самсу.

С явным удовольствием приняв подарок – флакон «Chanel Coco», купленный на получасовой пересадке в аэропорту Амстердама, – и выслушав благодарственную речь коллеги, Вика с улыбкой отмахнулась:

– Да нет, всё не так страшно. Рада, что ты хорошо отдохнул. Но если представится случай, проучи как-нибудь этого мерзкого Гиля. Если б ты знал, как он меня достал своим вонючим яйцом.

– Пожалуйста! – весело крикнул доктор. – Следующий!

Пожаловал грациозный каллиграф в сопровождении надзирателя Нехемии.

– Вот, – тот кивнул на Гиля и почесал брюхо «мастером». – Опять со своим яйцом. Я ему говорю: уже высиди цыплёнка, раз такое дело.

Пациент с глазами раненой лани на поношенной физиономии итальянского мафиози пребывал в ожидании пусть краткого и неприязненного, но волнующего контакта с прекрасной женщиной. Увидев доктора Бугрова, приуныл: заключённые обычно сникали, когда доктор так широко улыбался.

Стриженный чуть не под ноль, с напряжёнными плечами, с пружинной походкой, доктор Бугров, признаться, и сам походил на опасного уголовника. И как бы широко он ни улыбался, немногие выдерживали жёсткую синеву его прищуренных глаз.

– Привет тебе, яйцекладущий! Ну что ж, давай, снимай штаны, милый. Посмотрю я, покручу твоё многострадальное яйцо. Ты, кажется, жаловался, что доктор Яблонская отказывается пальпировать твою гирьку? Я пропальпирую, будешь в экстазе, обещаю... Правое, говоришь? Давай посмотрим, не нужно ли тебе его от-че-кры-жить...

Гиль отшатнулся, инстинктивно защищая область паха обеими растопыренными руками.

– Нет! – крикнул. – Не трогайте меня! Я уже... у меня уже к лучшему пошло... Чувствую, идёт к выздоровлению!

– Нет-нет, – доктор надвинулся, жутковато скалясь, – я просто обязан удалить гангренозный орган. Адам! – бросил через плечо. – Скальпель и местную анестезию... Что? Лидокаин кончился? Ладно, обойдёмся, так отчищаем, он у нас известный терпеливец. А, Гиль? Пожертвуем яичко голодающим детям?! – Шагнул к нему и умолк: Гиль тоненько, тошнотворно завыл и обвис в руках Адама, намертво вцепившись в собственную мошонку.

Доктор Бугров не то чтобы впечатлён был, но озадачился – и тем, что Гиль поверил в подобную экзекуцию, и тем, насколько тот перепугался.

– Держите этого мудака, он в обморок хлопнется, – брезгливо рассматривая томного каллиграфа, заметил доктор. – Адам, усади его, слышь?! Он поверил, вонючка.

Бледный Гиль сполз по стенке на подставленный стул... Выразительные чёрные глаза его закатились, физиономия выглядела линиялой, как старая майка. Кажется, и вправду – обморок. Адам хмыкнул: «Ты покусился на самое его дорогое, док!» – «Не смейся, у нас с тобой это тоже – самое дорогое», – отозвался док. Адам сунул под нос Гилю ватку с нашатырём, и голова того вяло мотнулась, запрокинулась... глаза открылись: перед ним, сложив руки на груди, стоял страшный доктор Бугров.

– То-то же, скотина, – сказал он негромко. – Не забудь написать на меня жалобу в ООН своим каллиграфическим почерком. – И в коридор: – Забрать его! На выход!

Когда, много лет спустя, Аристарх перешёл работать в клинику на Мёртвом море и ему приходилось принимать богатеньких пациентов по программе «медицинский туризм», он любил пошутить, что тоскует по времени в своей жизни, когда больного из кабинета выводили в наручниках.

Перед ним сидела дородная дама в бриллиантах и полчаса повествовала о том, как у неё вибрирует верхнее веко; тогда он вспоминал мошонку Йоси Гиля, и ему хотелось привычно гаркнуть: «На выход!»

* * *

После утреннего приёма начинался крошечный ад, череда нескончаемых ЧП. Тот накинул на голову матрас и поджёг его, и сидел так, пока в камере не завоняло шашлыком. Другой порезал себе вены, спину третьего сокамерники исполосовали бритвой. Четвёртому в ухо залез таракан. Пятый проглотил батарейку. Зачем? Да побыть в больничке дня два, пока там разберутся, глотал или нет. Громкая селекторная связь включалась чуть не каждую минуту, и надо было бежать осматривать или принимать в кабинете, перевязывать, обрабатывать, зашивать...

– Док, слышал, какая вчера залипуха случилась?!

Это Боря Трусков. Сдаёт смену Адаму и торопится рассказать доктору про «залипуху».

– К одному из четвёртого блока явилась на свидание жена. Ну, тот уже по комнате свиданий мечется как тигр, с полотенцем на бёдрах, глаза из орбит, готов трахнуть электрическую розетку. Надзиратель приводит бабу, а мужик ему: «Эй, ты кого привёл?! Это не моя жена!»

А тому – что? бывает, перепутал. Ведёт бабу обратно, и в предбаннике эта ошибочная жена сталкивается с настоящей. Та бросает обе сумки жратвы, которые притаранила мужу, и вопит: «Где она сейчас была?! С моим мужиком?! Ах ты, твою перетак!!!» – и ну её мутузить. Та, другая, не растерялась и пошла из этой волосья драть. Прямо театр!

Боря от своего рассказа получает массу удовольствия, даже похрюкивает от смеха, – возможно, представляет, как, выстроившись в затылочек, к нему рвутся его собственные жёны, ради сладостного свидания готовые порвать друг друга в клочья, выдрать волосья, выцарапать последний глаз.

– А тебе мало, что тут тюрьма, тебе тут ещё театр нужен, – негромко замечает Адам. В эту минуту дверь распаивается ударом ноги, и целая группа пытается протиснуться в кабинет: двое надзирателей волокут под руки заключённого – странно синеватого, с запрокинутым опухшим лицом.

– Э-э... ну ладно, я пошёл. Удачного дежурства, – говорит Боря и сматывается.

Это шутка. Какое там удачное дежурство! Работа фельдшера – адова карусель, огненная мясорубка: их ежеминутно рвут на части и во все стороны. Дважды в день фельдшер тащится в обход по камерам, бегаёт по мелким жалобам – проверяет, стоит ли перетаскивать больного в медсанчасть, раскладывает лекарства, делает перевязки, ставит клизмы, даёт по морде... – чёртова вертячка мелкого беса в смердящем зеве рутинного Ада. «Удачного дежурства!» – хмыкая, повторяет про себя Адам, крутит головой и думает – а правда, что бы это значило: какой-нибудь локальный взрыв, который бы смёл с лица земли всю здешнюю нечисть вместе с тюремной обслугой?

Синего субъекта между тем втащили в кабинет и пытаются пристроить на кушетке. Тот вскрикивает от каждого прикосновения и тоненько воет, не находя себе места, присаживаясь то на одну, то на другую ягодицу. Наконец примачивается на кушетке боком, как птичка на ветке.

– Это что за чучело? – доктор хмуро разглядывает заключённого.

– Сокамерники расписали... – докладывает охранник. Пострадавший лишь мычит короткими стонущими вздохами, глаз не открывая, словно боится увидеть даже малую часть собственного тела. – Всю ночь трудились.

– Разденьте его.

Легко касаясь, Адам осторожно стягивает с парня оранжевую робу и... перед бывалыми тюремщиками, «людьми твёрдыми», предстаёт картина, которую просто жалко не запечатлеть.

Адам её и запечатлевает, качая головой и присвистывая от жалости и... восхищения. Тело парня, от затылка до пят, включая ягодичы, пах, спину, шею и даже уши, покрыто густой паутиной свежей татуировки, несколько однообразной по художественному замыслу: это все телефонные номера и имена многочисленного персонала тюрьмы – надзирателей, офицеров, фельдшеров и врачей.

– О господи, – бормочет доктор. – Да что ж это за... телефонная книга?

– Эти гады... они узнали, догадались как-то, что Шикал – осведомитель, – говорит охранник. – Потому телефоны на нём выкололи, мол, для удобства, чтобы не забыл. Звони, мол, в любое время. Мой тоже тут есть... Где же он, Шикал? Ну-к, подними руку. Ага, здесь, вот он, мой номер, под мышкой, – произносит с гордостью, подняв руку заключённого, как судья – руку боксёра, победившего на ринге. – Вы себя поищите, доктор, может, и ваш телефончик тут есть?

– Два опальгина, абитрен в мышцу, повязки с синто... – говорит доктор Бугров фельдшеру. – И успокоительное...

– Отвали, – Адам отодвигает охранника локтем и идёт в «аптечку» за лекарствами. Доктор продолжает ощупывать вспухшие грудь, бицепсы, шею, спину стонущего пациента, бормоча про себя: «Остроумные, мерзавцы... Чем же это они выкалывали?»

– Делов-то! – спокойно отзывается вернувшийся из «аптечки» Адам. – Берёшь магнитофон эм-пи-три, всаживаешь в него иголку; включил и поехал. Позвольте, док...

Расписного стукача перевязали, оформили в тюремную больничку, ещё час искали начмеда, затем тот добивался начальника тюрьмы, в кабинете которого обсуждали ситуацию и искали решение.

Заключённого, понятно, переправят в другую тюрьму. Но делу это не поможет: каждый клочок его телефонной кожи просто вопиет о нынешнем его месте в тюремной иерархии.

– Я вот что думаю, – сказал доктор Бугров генералу Мизрахи. – Если мы не хотим потерять полезного человека, придётся его «отмыть».

– Что?! Говори по-человечески.

– Сделать пластику кожи.

– Ты спятил? – поинтересовался генерал. – В какую сумму станет государству этот «Голливуд»?

– Тысяч в шестьдесят, – подумав, отозвался доктор.

Из тюремного блока вернулся Адам с новостью:

– Ночной истерик, помнишь, на той неделе три ночи подряд орал? Так он опять за своё принялся. Вопит после отбоя до самого утра, душу вынимает, покоя никому не даёт. И, главное, сука, орёт так пронзительно – сирена! – по всем этажам слышно.

– Ага. Почему его не прибила братва?

– Однажды избили, потому в одиночке сидит.

– И чего он хочет?

– Помереть якобы. Орёт: «Я не хочу жить! Дайте мне умереть!» Всю ночь орал без перерыва, теперь дрыхнет.

– Будите тенора, – велел доктор. – Тащите сюда.

Приволокли заспанного *потенциального самоубийцу*, рожа мятая, разомлевшая. Сладко спал, доложил надзиратель.

Виновник ночного дебоша стоял, исподтишка рассматривая доктора. Тот тоже молча рассматривал новую здесь персону. Занятная фамилия у заключённого: Сивец, а он и правда весь сивый: сивые патлы, сивые глаза в красных прожилках. Сидит за серию квартирных краж. По здешним меркам, при здешнем тюремном населении – просто младенец. Но когда младенец орёт ночами – это утомительно. Надо с младенцем провести воспитательную беседу.

– У меня для тебя хорошая новость, – наконец участливо проговорил доктор Бугров.

Адам поднял голову и бросил взгляд на того и другого: когда док начинал говорить с кем-то из заключённых по-русски, это всегда обещало особо интересное кино.

– Сегодня сбудется твоё заветное желание. Решено дать тебе умереть.

– Доктор... э-э... но...

– Это было нелегко, у нас в стране нет смертной казни. Но руководство тюрьмы направило просьбу в Верховный суд, и вот пришёл ответ, – Аристарх помахал в воздухе рецептурным бланком (вряд ли пациент потребует бумажку на прочтение, иврита он наверняка не знает: приехал в Израиль туристом, *на гастроль*), – твоё прошение удовлетворено.

– Как это? – в замешательстве пробормотал Сивец. – Подождите! Доктор!

Вытянув шею, он всматривался в серьёзное и сочувственное лицо врача, лицо последней инстанции; не может быть, чтобы тот шутил! Да и с какой стати этот лепила, которого бояться и ненавидят все заключённые, станет с ним шутковать?!

– Э! Э! я никуда ксиву не писал! – Сивец заметался глазами, отступил к двери. – Это я так, в бессознательном орал, я травмированный...

– ...по особой просьбе отчаявшегося пациента возможны исключения, – продолжал доктор негромко, сочувственно, будто и не слыша заплескивающих выкриков Сивца. – И я полностью солидарен: надо прекратить твои страдания. Когда человек не хочет жить, безжалостно и безнравственно длить его мучения. Сейчас тебя отведут в специальную комнату, где ты подпишешь кое-какие бумаги и выберешь способ умерщвления: газ, пуля, удушение... Поверь, мы уважаем твой выбор.

– Вы... вы не имеете права!!! – выкрикнул Сивец. – Я гражданин другой страны! Это насилие... это преступление! Я не безумный! Я – против! Это нацизм! Вы нацисты, я буду крича-а-ать!!!

– Да-да, покричи от души, это естественная реакция. Здесь у нас звукоизоляция, кричи. – Доктор Бугров был по-прежнему доброжелателен и невозмутим. – Советую выбрать восточный вариант: отсечение головы – тогда и криков будет меньше. – Он поднялся из-за стола. – Рад, что смог удовлетворить твою просьбу. Тебе недолго осталось страдать. Адам, зови охрану, приступайте...

– А-а-а-а!!! Помогите-е-е!!!

Бледный Сивец сполз по стенке на пол, вытянул дрожащие, прыгающие ноги. Руки его, сжатые в кулаки, стучали по полу, как барабанные палочки ударника-виртуоза.

Доктор подошёл к нему, присел на корточки и с минуту близко рассматривал лицо вора – молча, безжалостно и пристально, явственно ощущая исходящее от того зловоние ненависти и страха. Адам, который не понимал ни слова, тоже поднялся: ему почему-то сделалось знобко и неудобно, и, переводя взгляд с доктора на заключённого, он уже не впервые подумал, что не захотел бы оказаться с доком по разные стороны драки.

– Вот так-то, сволочь, – негромко проговорил доктор Бугров. – Ещё хоть раз завоешь на луну, лично отрежу язык. Это быстро. Скальпелем: чик! и прощай, опера.

Поднялся, кивнул подбородком на дверь:

– На выход!

* * *

Каждый день, во избежание массового отравления тюремных насельников, на кухне снималась проба съестного. В отдельный стаканчик наливался суп, в отдельную чашку откладывался кусок котлеты. Две ложки пюре или другого гарнира, а также салат, хумус и всё остальное, что значилось в меню, тоже подвергалось самой тщательной проверке. Всё должно было

быть задокументировано и описано в специальном кухонном журнале и хранилось в холодильнике двое суток.

Ногти заключённых, работавших на кухне, тоже были заботой тюремного врача – в советской школе дежурные на входе проверяли так чистоту ногтей. (Вообще, обиход израильской тюрьмы сильно напоминал Аристарху советскую школу.)

На кухне работали только уголовники, причём проверенные и *уважаемые*. Не то чтобы без крови на руках, но кровь должна была быть отмыта, ногти острижены, а репутация – кристальна. Лет десять уже один убийца резал цыплят – отлично резал, профессионально: он напрактиковался на воле.

Курица, кстати, должна была быть разрезана *на правильные* части, от этого зависело многое. Был случай, когда заключённый убил сокамерника: тот посмел взять *более уважаемый* кусок курицы; не по чину взял, зато и съесть не успел – проткнули его заточкой.

Резали они себя и друг друга ежедневно. Орудием убийства или ранения могло служить что угодно, любой гвоздь, подобранный во дворе на прогулке. Такой гвоздь неделями точат о кафельный пол, получается стальная игла, которую вставляют в пустую зажигалку – отличная заточка! Или взять осколок лезвия, который они выковыривали из одноразовой бритвы. Хранили такой осколок в подъязычной полости, и в нужный момент натренированным движением бритву выхаркивали, вмиг становясь опасно вооружёнными.

Каждую ночь кто-то из заключённых пытался порешить себя, чаще всего стараясь разбить голову о стену.

Однажды (Аристарх едва приступил к своим обязанностям) надзиратель приволок в медсанчасть бедуина, мальчика лет семнадцати. Был тот невероятно тонким, в профиль – как стебелек: тонкие плечи, тонкие руки, длинное тонкое лицо. А волосы – шаром, как у Анжелы Дэвис.

– Бился башкой о стену, – доложил надзиратель. – С такими волосьями хрен её разобьёшь. – Повернулся к пареньку, гаркнул: – Что, братану-то по башке ловчее было кирпичом засандалить?

– Оставь нас, – сказал Аристарх.

У мальчика запеклась кровь на красиво очерченных губах, и на виске кровь запеклась, но раны были пустяковые. Доктор сам выстриг островки ушибов и ссадин на голове, промыл их, продезинфицировал, заклеил пластырем. Всё – молча. Парень сидел безучастный, будто отключённый. Доктор придвинул стул, сел напротив. Коснулся его плеча – застывшего.

– Ну, что, *сын*ок, – спросил мягко. – Что это ты? Брата долбанул, сейчас себя хочешь убить. Зачем это?

Бедуин так же отрешённо смотрел мимо доктора в окно, и тот знал, что он там видит: тюремный двор для прогулок, не Женевское озеро.

– Доктор, ты не понимаешь... – хриплым шёпотом пробормотал юноша. И умолк.

Из «обезьянника» неслись привычные вопли, яркое солнце выстелило на полу комнаты два косых белых коврика. Двое, врач и заключённый, сидели и молчали.

– Я не хочу жить... – наконец сказал юноша. – Нельзя мне жить. У меня огромная семья, огромная *хамула*...⁵ Только родных братьев девять, а ещё двоюродные, троюродные, племянники, дяди... Много мужчин, понимаешь? Все воруют, дерутся, наркотики толкают. Если надо им – убивают. Наша хамула известная и страшная, нас уважают, боятся. Мы перекачиваем наркотики из Сирии в Египет. А я другим родился. Почему? Не знаю. Просто не хочу этой грязной жизни. Сам выучился читать, в школу сам пошёл... Они все надо мной смеются. Но я не могу без книг. Все деньги на них трачу... – Он говорил тихим гортанным голосом довольно грамотно, хотя и короткими фразами. – Люблю те, которые про историю разных стран и про

⁵ Клан (*араб.*).

верования разные. Особенно про Ислам. Я жизнь Пророка всю наизусть знаю, по дням. Братья надо мной издеваются. Старший брат вынес все мои книги в загон для овец, построил из них трон, теперь сидит там, под ногами – ступенька из моих книг. Вот, говорит, смотри, как я поумнел. В меня вся твоя книжная мудрость через жопу вошла. Ну, я не выдержал, подобрал кирпич и треснул его по башке. Он в больнице сейчас, без сознания. А я? Как я домой вернусь? Я трёх часов не проживу. Даже если брат выкарабкается, моя жизнь всё равно кончена, нет смысла ждать.

За спиной парня открылась дверь, в ней появилась фигура Бори Трускова. Доктор покачал головой, сказал ему по-русски очень уважительным, даже проникновенным голосом:

– Отвали, этруск. Очисти сцену. Влез не ко времени.

И Боря понимающе кивнул и исчез, прикрыв за собой дверь.

– Послушай... – наморщив лоб, как бы в усилии что-то вспомнить, проговорил доктор. Он поднялся, отошёл к окну, закрыв своей спиной дивный пейзаж, который так притягивал горестное внимание мальчика. – Мне это что напоминает: вот, Мухаммад, пророк... да ты же читал, сам знаешь: у него то же самое было. Он любил учение, родные его не поняли, высмеяли, отвергли, он еле ноги унёс: бежал из дому, покинул семью и...

Взглянув на мальчика, он озадаченно запнулся. Бедуин, с потрясённым лицом, с прижатыми к груди кулаками, медленно поднимался со стула.

– Доктор... – пробормотал, – ты... веришь в перерождение великих душ?! Ты думаешь, что я... Мухаммад?

Аристарх растерялся. Вообще-то у него не было намерения проводить подобные аналогии. Он просто хотел приободрить парня, совершенно упустив способность восточного человека мгновенно впитывать в воображение и преобразовывать религиозные смыслы. Пытаясь скрыть замешательство, он стоял напротив своего юного, явно экзальтированного пациента, не зная – что делать.

– Ты думаешь, я – Мухаммад?! – страстным шёпотом повторил мальчик. Губы его дрожали, пальцы скребли рубашку.

«Ты что творишь?! – спросил себя Аристарх. – Совсем сбрендил? Не хватало ещё накачать парнишку угарным газом религиозного экстаза. – И себе же ответил: – Ну и что? А если это поможет ему вынести кошмар тюряги?»

– Ты думаешь... думаешь... – дрожащими губами повторял юный бедуин, – что я – возрождённый Мухаммад?!

Доктор подошёл к нему, положил на плечо ладонь, сжал это тощее, почти детское плечо и медленно, с внутренней силой проговорил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.